

МАКСИМ ГОРЬКИЙ ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА



Максим Горький
Васса Железнова (сборник)

«Public Domain»

Горький М.

Васса Железнова (сборник) / М. Горький — «Public Domain»,

В книгу М.Горького вошли роман «Фома Гордеев» (1899) – драматическая история молодого человека, не нашедшего места в жестоком и неискреннем мире дельцов, «хозяев жизни», а так же известные пьесы «Васса Железнова» (1936), «Егор Булычев и другие» (1932) и повесть «Мои университеты» (1923). Максим Горький: «Женщина иногда может в своего мужа влюбиться»

Содержание

Фома Гордеев	5
I	5
II	12
III	24
IV	50
V	63
VI	68
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Максим Горький

Васса Железнова (Сборник)

Фома Гордеев

Антону Павловичу Чехову
М. Горький

I

Лет шестьдесят тому назад, когда на Волге со сказочною быстротой создавались миллионные состояния, – на одной из барж богача купца Заева служил водоливом Игнат Гордеев.

Сильный, красивый и неглупый, он был одним из тех людей, которым всегда и во всем сопутствует удача – не потому, что они талантливы и трудолюбивы, а скорее потому, что, обладая огромным запасом энергии, они по пути к своим целям не умеют – даже не могут – задумываться над выбором средств и не знают иного закона, кроме своего желания. Иногда они со страхом говорят о своей совести, порою искренно мучаются в борьбе с ней, – но совесть непобедима лишь для слабых духом; сильные же, быстро овладевая ею, поработают ее своим целям. Они приносят ей в жертву несколько бессонных ночей; а если случится, что она одолеет их души, то они, побежденные ею, никогда не бывают разбиты и так же сильно живут под ее началом, как жили и без нее...

В сорок лет от роду Игнат Гордеев сам был собственником трех пароходов и десятка барж. На Волге его уважали, как богача и умного человека, но дали ему прозвище – Шалый, ибо жизнь его не текла ровно, по прямому руслу, как у других людей, ему подобных, а то и дело, мятежно вскипая, бросалась вон из колеи, в стороны от наживы, главной цели существования. Было как бы трое Гордеевых – в теле Игната жили три души. Одна из них, самая мощная, была только жадна, и, когда Игнат подчинялся ее велениям, – он был просто человек, охваченный неукротимой страстью к работе. Эта страсть горела в нем дни и ночи, он всецело поглощался ею и, хватая всюду сотни и тысячи рублей, казалось, никогда не мог насытиться шелестом и звоном денег. Он метался по Волге вверх и вниз, укрепляя и разбрасывая сети, которыми ловил золото: скупал по деревням хлеб, возил его в Рыбинск на своих баржах; обманывал, иногда не замечал этого, порою – замечал, торжествуя, открыто смеялся над обманутыми и, в безумии жажды денег, возвышался до поэзии. Но, отдавая так много силы этой погоне за рублем, он не был жаден в узком смысле понятия и даже, иногда, обнаруживал искреннее равнодушие к своему имуществу.

Однажды, во время ледохода на Волге, он стоял на берегу и, видя, как лед ломает его новую тридцатипятисаженную баржу, притиснув ее к обрывистому берегу, приговаривал сквозь зубы:

– Так ее!.. Ну-ка еще... жми-дави!.. Ну, еще разок!..

– Что, Игнат, – спросил его кум Маякин, – выжимает лед-то у тебя из мошны тысяч десять, этак?

– Ничего! Еще сто наживем!.. Ты гляди, как работает Волга-то! Здорово? Она, матушка, всю землю может разворотить, как творог ножом, – гляди! Вот те «Боярыня» моя! Всего одну воду поплавала... Ну, справим, что ли, поминки ей?

Баржу раздавило. Игнат с кумом, сидя в трактире, на берегу, пили водку и смотрели в окно, как вместе со льдом по реке неслись обломки «Боярыни».

– Жалко посуду-то, Игнат? – спросил Маякин.

– Ну, чего ж жалеть? Волга дала, Волга и взяла... Чай, не руки мне оторвало...

– Все-таки...

– Что – все-таки? Ладно, хоть сам видел, как все делалось, – вперед – наука! А вот, когда у меня «Волгарь» горел, – жалко, не видал я. Чай, какая красота, когда на воде, темной ночью, этакий кострище пылает, а? Большущий пароходина был...

– Будто тоже не пожалел?

– Пароход? Пароход – жалко было, точно... Ну, да ведь это глупость одна – жалость! Какой толк? Плачь, пожалуй: слезы пожара не потушат. Пускай их – пароходы горят. И – хоть всё сгори – плевать! Горела бы душа к работе... так ли?

– Н-да, – сказал Маякин, усмехаясь. – Это ты крепкие слова говоришь... И кто так говорит – его хоть догола раздень, он все богат будет...

Относясь философски к потерям тысяч, Игнат знал цену каждой копейки; он даже нищим подавал редко и только тем, которые были совершенно неспособны к работе. Если же милостыню просил человек мало-мальски здоровый, Игнат строго говорил:

– Проваливай! Еще работать можешь, – поди вот дворнику моему помоги навоз убрать – семишник дам.

В периоды увлечения работой он к людям относился сурово и безжалостно, – он и себе покоя не давал, ловя рубли. И вдруг – обыкновенно это случалось весной, когда все на земле становится так обаятельно красиво и чем-то укоризненно ласковым веет на душу с ясного неба, – Игнат Гордеев как бы чувствовал, что он не хозяин своего дела, а низкий раб его. Он задумывался и, пытливо поглядывая вокруг себя из-под густых, нахмуренных бровей, целыми днями ходил угрюмый и злой, точно спрашивая молча о чем-то и боясь спросить вслух. Тогда в нем просыпалась другая душа – буйная и похотливая душа раздраженного голодом зверя. Дерзкий со всеми и циничный, он пил, развратничал и спаивал других, он приходил в иступление, и в нем точно вулкан грязи вскипал. Казалось, он бешено рвет те цепи, которые сам на себя сковал и носит, рвет их и бессилён разорвать. Всклокоченный, грязный, с лицом, опухшим от пьянства и бессонных ночей, с безумными глазами, огромный и ревуший хриплым голосом, он носился по городу из одного вертепа в другой, не считая бросал деньги, плакал под пение заунывных песен, плясал и бил кого-нибудь, но нигде и ни в чем не находил успокоения.

О его кутежах в городе создавались легенды, его строго осуждали, но никто никогда не отказывался от его приглашения на оргии. Так он жил неделями. И неожиданно являлся домой еще весь пропитанный запахом кабаков, но уже подавленный и тихий. Со смиренно опущенными глазами, в которых теперь горел стыд, он молча слушал упреки жены, смиренный и тупой, как овца, уходил к себе в комнату и там запирался. По несколько часов кряду он выстаивал на коленях пред образами, опустив голову на грудь; беспомощно висели его руки, спина гнилась, и он молчал, как бы не смея молиться. К дверям на цыпочках подходила жена и слушала. Тяжелые вздохи раздавались за дверью – вздохи лошади, усталой и больной.

– Господи! Ты – видишь!.. – глухо шептал Игнат, с силой прижимая к широкой груди ладони.

Во дни покаяния он пил только воду и ел ржаной хлеб. Жена утром ставила к двери его комнаты большой графин воды, фунта полтора хлеба и соль. Он отворял дверь, брал эту трапезу и снова запирался. Его не беспокоили в это время, даже избегали попадаться на глаза ему... Через несколько дней он снова являлся на бирже, шутил, смеялся, принимал подряды на поставку хлеба, зоркий, как опытный хищник, тонкий знаток всего, что касалось дела.

Но во всех трех полосах жизни Игната не покидало одно страстное желание – желание иметь сына, и чем старше он становился, тем сильнее желал. Часто между ним и женой происходили такие беседы. Поутру, за чаем, или в полдень, за обедом, он, хмуро взглянув на жену, толстую, раскормленную женщину, с румяным лицом и сонными глазами, спрашивал ее:

– Что, ничего не чувствуешь?

Она знала, о чем он спрашивал, но неизменно отвечала:

– Как мне не чувствовать? Кулаки-то у тебя – вона какие, как гири...

– Я про чрево спрашиваю, дура...

– От такого бою разве можно понести?

– Не от бою ты не родишь, а оттого, что жрешь много. Набьешь себе брюхо всякой пищей – ребенку и негде зародиться.

– Будто я не родила тебе?..

– Девочек-то! – укоризненно говорил Игнат. – Мне сына надо! Понимаешь ты? Сына, наследника! Кому я после смерти капитал сдам? Кто грех мой замолит? В монастырь, что ль, все отдать? Дадено им, – будет уж! Тебе оставить? Молельщица ты, – ты, и во храме стоя, о кулебяках думаешь. А помру я – опять замуж выйдешь, попадут тогда мои деньги какому-нибудь дураку, – али я для этого работаю? Эх ты...

И его охватывала злобная тоска, он чувствовал, что жизнь его бесцельна, если не будет у него сына, который продолжал бы ее.

За девять лет супружества жена родила ему четырех дочерей, но все они умерли. С трепетом ожидая рождения, Игнат мало горевал об их смерти – они были не нужны ему. Жену он бил уже на второй год свадьбы, бил сначала под пьяную руку и без злобы, а просто по пословице: «люби жену – как душу, трясги ее – как грушу»; но после каждых родов у него, обманутого в ожиданиях, разгоралась ненависть к жене, и он уже бил ее с наслаждением, за то, что она не родит ему сына.

Однажды, находясь по делам в Самарской губернии, он получил из дома от родных депешу, извещавшую его о смерти жены. Он перекрестился, подумал и написал куму Маякину: «Хороните без меня, наблюдай за имуществом...»

Потом он пошел в церковь служить панихиду и, помолившись о упокоении души новопреставленной Акилины, решил поскорее жениться.

В то время ему было сорок три года; высокий, широкоплечий, он говорил густым басом, как протодьякон; большие глаза его смотрели из-под темных бровей смело и умно; в загорелом лице, обросшем густой черной бородой, и во всей его мощной фигуре было много русской, здоровой и грубой красоты; от его плавных движений и неторопливой походки веяло сознанием силы. Женщинам он нравился и не избегал их.

Не прошло полугода со дня смерти жены, как он уже посватался к дочери знакомого ему по делам уральского казака-старообрядца. Отец невесты, несмотря на то, что Игнат был и на Урале известен как «шалый» человек, выдал за него дочь. Ее звали Наталья. Высокая, стройная, с огромными голубыми глазами и длинной темно-русой косой, она была достойной парой красавцу Игнату; а он гордился своей женой и любил ее любовью здорового самца, но вскоре начал задумчиво и зорко присматриваться к ней.

Улыбка редко являлась на овальном, строго правильном лице его жены, – всегда она думала о чем-то, и в голубых ее глазах, холодно спокойных, порой сверкало что-то темное, нелюдимое. В свободное от занятий по хозяйству время она садилась у окна самой большой комнаты в доме и неподвижно, молча сидела тут по два, по три часа. Лицо ее обращено на улицу, но взгляд был так безучастен ко всему, что жило и двигалось за окном, и в то же время был так сосредоточенно глубок, как будто она смотрела внутрь себя. И походка у нее была странная – Наталья двигалась по просторным комнатам дома медленно и осторожно, как будто что-то невидимое стесняло свободу ее движений. Дом был обставлен с тяжелой, грубо хвастливой роскошью, все в нем блестело и кричало о богатстве хозяина, но казачка ходила мимо дорогих мебели и горок, наполненных серебром, боком, пугливо, точно боялась, что эти вещи схватят ее и задавят. Шумная жизнь большого торгового города не интересовала эту женщину, и когда она выезжала с мужем кататься – глаза ее смотрели в спину кучера. Если муж звал ее

в гости – она шла, но и там вела себя так же тихо, как дома; если к ней приходили гости, она усердно поила и кормила их, не обнаруживая интереса к тому, о чем говорили они, и никого из них не предпочитая. Лишь Маякин, умница и балагур, порой вызывал на лице ее улыбку, неясную, как тень.

Он говорил про нее:

– Дерево – не баба! Однако – жизнь – как костер неугасимый, вспыхнет и эта молоканка, дай срок! Тогда увидим, какими она цветами расцветет...

– Эй, кулугурка! – шутливо говорил Игнат жене. – Что задумалась? Или по своей станице скучаешь? Живи веселей!

Она молчала, спокойно поглядывая на него.

– Больно уж ты часто по церквам ходишь... Погодила бы! успеешь еще грехи-то замолить, – сперва нагреси. Знаешь: не согресишь – не покаешься, не покаешься – не спасешься... Ты вот греси, пока молода. Поедем кататься?

– Не хочется...

Он подсаживался к ней, обнимал ее, холодную, скупно отвечавшую на его ласки, и, заглядывая в ее глаза, говорил:

– Наталья! Чего ты такая нерадостная? Скучно, что ли, со мной, а?

– Нет, – кратко отвечала она.

– Так что же – к своим, что ли, хочется?

– Да, – нет... так это...

– О чем ты думаешь?

– Я не думаю...

– А что же?

– Так...

Однажды он добился от нее более многосложного ответа:

– В сердце у меня – смутное что-то. И в глазах... И все кажется мне, что это – не настоящее...

Она повела вокруг себя рукой, на стены, мебель, на все. Игнат не подумал над ее словами и, смеясь, сказал ей:

– Это ты напрасно! Тут все самое настоящее... вещь все дорогая, прочная!.. Но – захочешь – все сожгу, распродам, раздарю и – новое заведу! Ну, желаешь?

– На что? – спокойно сказала она.

Его удивляло, как это она, такая молодая, здоровая, живет – точно спит, ничего не хочет, никуда, кроме церкви, не ходит, людей дичится. И он утешал ее:

– Вот погоди – родишь ты мне сына, – совсем другая жизнь у тебя пойдет. Это ты оттого печалишься, что заботы у тебя мало, он тебе даст заботу... Родишь ведь сына, а?

– Как бог даст, – отвечала она, опуская голову.

Потом ее настроение стало раздражать его.

– Ну, молоканка, что нос повесила? Ходит – ровно по стеклу смотрит – будто душу чью-то загубила! Баба ты такая ядреная, а вкуса у тебя нет ни к чему, – дуреха!

Раз, придя домой выпивши, он начал приставать к ней с ласками, а она уклонялась от них. Тогда он рассердился и крикнул:

– Наталья! Не дури, смотри.

Она обернулась лицом к нему и спокойно спросила:

– А то что будет?

Игнат освирепел от этих слов и ее безбоязненного взгляда.

– Что? – рявкнул он, наступая на нее.

– Прибить, что ли, хочешь? – не двигаясь с места и не моргнув глазом, спрашивала она.

Игнат привык, чтоб пред гневом его трепетали, ему было дико и обидно видеть ее спокойствие.

– А – вот!.. – крикнул он, замахиваясь на нее. Не быстро, но вовремя она уклонилась от его удара, потом схватила руку его, оттолкнула ее прочь от себя и, не повышая голоса, сказала:

– Ежели тронешь, – больше ко мне не подходи! Не допушу до себя!

Большие глаза ее сузились, и их острый, режущий блеск отрезвил Игната. Он понял по лицу ее, что она тоже – зверь сильный и, если захочет, – не допустит его до себя, хоть до смерти забей ее.

– У-у, кулугурка! – рыкнул он и ушел.

Но, отступив пред нею однажды, в другой раз он не сделал бы этого: не мог он потерпеть, чтобы женщина и жена его не преклонилась пред ним, – это унизило бы его. Он почувствовал, что жена ни в чем и никогда не уступит ему и что между ним и ею должна завязаться упорная борьба.

«Ладно! Поглядим, кто кого», – думал он на следующий день, с угрюмым любопытством наблюдая за нею, и в душе его уже разгоралось бурное желание начать борьбу, чтоб скорее насладиться победой.

Но дня через четыре Наталья Фоминична объявила мужу, что она беременна. Игнат вздрогнул от радости, крепко обнял ее и глухо заговорил:

– Наташа... ежели – сын, ежели сына родишь – озолочу! Что там! Прямо говорю – слугою тебе буду! Вот – как перед богом! Под ноги тебе лягу, топчи меня, как захочешь!

– В этом не наша воля, а божья!.. – тихо и вразумительно сказала она.

– Да, – божья! – с горечью воскликнул Игнат и грустно поник головой.

С этой минуты он начал ходить за женой, как за малым ребенком.

– Пошто села к окну? Смотри – надует в бок, захворает еще!.. – говорил он ей сурово и ласково. – Что ты скачешь по лестнице-то? Встряхнешься как-нибудь... А ты ешь больше, на двоих ешь, чтобы ему хватало...

Наталью же беременность сделала еще более сосредоточенной и молчаливой; она глубже ушла в себя, поглощенная биением новой жизни под сердцем своим. Но улыбка ее губ стала яснее, и в глазах порой вспыхивало что-то новое, слабое и робкое, как первый проблеск утренней зари.

Когда наступило время родов, – это было рано утром осеннего дня, – при первом крике боли, вырвавшемся у жены, Игнат побледнел, хотел что-то сказать ей, но только махнул рукой и ушел из спальни, где жена корчилась в судорогах, ушел вниз в маленькую комнатку, моленную его покойной матери. Он велел принести себе водки, сел за стол и стал угрюмо пить, прислушиваясь к суете в доме. В углу комнаты, освещенные огнем лампы, смутно рисовались лики икон, безучастные и темные. Там, наверху, над его головой, топали и шаркали ногами, что-то тяжелое передвигали по полу, гремела посуда, по лестнице вверх и вниз суетливо бежали... Все делалось быстро, торопливо, но время шло медленно... До слуха Игната доносились подавленные голоса:

– Не разродится она так-то... в церковь бы послать, чтоб царские врата отворили...

В комнату, соседнюю с той, где сидел Игнат, вошла приживалка Вассушка и громким шепотом стала молиться:

– Господи боже наш... благоволивый снити с небес и родитися от святыя богородицы... ведый немощное человеческого естества... прости рабе твоей...

И вдруг, заглушая все звуки, раздавался нечеловеческий вой, сотрясавший душу, или продолжительный стон тихо плыл по комнатам дома и умирал в углах, уже полных вечернего сумрака... Игнат бросал угрюмые взгляды на иконы, тяжело вздыхал и думал:

«Неужто опять дочь будет?»

Порой он вставал и молча крестился, низко кланяясь иконам, потом опять садился за стол, пил водку, не опьянявшую его в эти часы, дремал, и – так провел весь вечер, и всю ночь, и утро до полудня...

И вот наконец сверху торопливо сбежала повитуха, тонким и радостным голосом крича ему:

– С сыном тебя, Игнат Матвеевич!

– Врешь?

– Ну, что это ты, батюшка!..

Вздыхнув во всю силу груди, Игнат рухнул на колени и дрожащим голосом забормотал, крепко прижимая руки к груди:

– Слава тебе, господи! Не восхотел ты, стало быть, чтобы прекратился род мой! Не останутся без оправдания грехи мои пред тобою... Спасибо тебе, господи! – И тотчас же, поднявшись на ноги, он начал зычно командовать: – Эй! Поезжай кто-нибудь к Николе за попом! Игнатий, мол, Матвейч просит! Пожалуйте, мол, молитву роженице дать...

Явилась горничная и тревожно сказала ему:

– Игнатий Матвейч! Наталья Фоминишна вас зовет... плохо им...

– Чего плохо? Пройдет! – рычал он, радостно сверкая глазами. – Скажи – сейчас иду! Скажи – молодец она! Сейчас, мол, подарок на зубок достанет и придет! Стой! Закуску попу приготовьте, за кумом Маякиным пошлите!

Его огромная фигура точно еще выросла, опьяненный радостью, он нелепо метался по комнате, потирая руки и, бросая на образа умиленные взгляды, крестился, широко размахивая рукой... Наконец пошел к жене.

Там прежде всего бросилось в глаза ему маленькое красное тельце, которое повитуха мыла в корыте. Увидав его, Игнат встал на носки сапог и, заложив руки за спину, пошел к нему, ступая осторожно и смешно оттопырив губы. Оно верещало и барахталось в воде, обнаженное, бессильное, трогательно жалкое...

– Ты, того, – осторожнее тискай... Ведь у него еще и костей-то нет... – сказал Игнат повитухе просительно и вполголоса.

Она засмеялась, открывая беззубый рот и ловко перебрасывая ребенка с руки на руку.

– Иди к жене-то...

Он послушно двинулся к постели и на ходу спросил:

– Ну что, Наталья?

Потом, подойдя, отдернул прочь полог, бросивший тень на постель.

– Не выживу я... – раздался тихий, хрипящий голос.

Игнат молчал, пристально глядя на лицо жены, утонувшее в белой подушке, по которой, как мертвые змеи, раскинулись темные пряди волос. Желтое, безжизненное, с черными пятнами вокруг огромных, широко раскрытых глаз – оно было чужое ему. И взгляд этих страшных глаз, неподвижно устремленный куда-то вдаль, сквозь стену, – тоже был незнаком Игнату. Сердце его, стиснутое тяжелым предчувствием, замедлило радостное биение.

– Ничего... Это уж всегда... – тихо говорил он, наклоняясь поцеловать жену.

Но прямо в лицо его она повторила:

– Не выживу...

Губы у нее были серые, холодные, и когда он прикоснулся к ним своими губами, то понял, что смерть – уже в ней.

– О, господи! – испуганным шепотом произнес он, чувствуя, что страх давит ему горло и не дает дышать. – Наташа! Как же? Ведь ему – грудь надо? Что ты это!

Он чуть не закричал на жену. Около него суетилась повитуха; болтая в воздухе плачущим ребенком, она что-то убедительно говорила ему, но он ничего не слышал и не мог оторвать

своих глаз от страшного лица жены. Губы ее шевелились, он слышал тихие слова, но не понимал их. Сидя на краю постели, он говорил глухим и робким голосом:

– Ты подумай – ведь он без тебя не может, – ведь младенец! Ты крепись душой-то: мысль-то эту гони! Гони ее...

Говорил и понимал – ненужное говорит он. Слезы вскипали в нем, в груди родилось что-то тяжелое, точно камень, холодное, как льдина.

– Прости – меня – прощай! Береги, смотри... Не пей... – беззвучно шептала Наталья.

Священник пришел и, закрыв чем-то лицо ее, стал, вздыхая, читать над нею умоляющие слова:

– «Владыко господи вседержителю, исцеляй всякий недуг... и сию, днесь родившую, рабу твою Наталью исцели... и восстави ю от одра, на нем же лежит... зане, по пророка Давида словеси: в беззакониях зачахомся и сквернави вси есмы пред тобою...»

Голос старика прерывался, худое лицо было строго, от одежд его пахло ладаном.

– «...из нея рожденного младенца соблюди от всякого ада... от всякия лютоисти... от всякия бури... от всякия духов лукавых, дневных же и нощных...»

Игнат безмолвно плакал. Слезы его, большие и теплые, падали на обнаженную руку жены. Но рука ее, должно быть, не чувствовала, как ударяются о нее слезы: она оставалась неподвижной, и кожа на ней не вздрагивала от ударов слез. Приняв молитву, Наталья впала в беспамятство и на вторые сутки умерла, ни слова не сказав никому больше, – умерла так же молча, как жила. Устроив жене пышные похороны, Игнат окрестил сына, назвал его Фомой и, скрепя сердце, отдал его в семью крестного отца, Маякина, у которого жена незадолго пред этим тоже родила. В густой, темной бороде Игната смерть жены посеяла много сединок, но в блеске его глаз явилось нечто новое – мягкое и ласковое.

II

Маякин жил в огромном двухэтажном доме с большим палисадником, в котором пышно разрослись могучие, старые липы. Густые ветви частым, темным кружевом закрывали окна, и солнце сквозь эту завесу с трудом, раздробленными лучами проникало в маленькие комнаты, тесно заставленные разнообразной мебелью и большими сундуками, отчего в комнатах всегда царил строгий полумрак. Семья была благочестива – запах воска, ладана и лампадного масла наполнял дом, покаянные вздохи, молитвенные слова носились в воздухе. Обрядности исполнялись неуклонно, с наслаждением, в них влагалась вся свободная сила обитателей дома. В сумрачной, душной и тяжелой атмосфере по комнатам почти бесшумно двигались женские фигуры, одетые в темные платья, всегда с видом душевного сокрушения на лицах и всегда в мягких туфлях на ногах.

Семья Якова Маякина состояла из него самого, его жены, дочери и пяти родственниц, причем самой младшей из них было тридцать четыре года. Все они были одинаково благочестивы, безличны и подчинены Антонине Ивановне, хозяйке дома, женщине высокой, худой, с темным лицом и строгими серыми глазами, – они блестели властно и умно. Был еще у Маякина сын Тарас, но имя его не упоминалось в семье; в городе было известно, что с той поры, как девятнадцатилетний Тарас уехал в Москву учиться и через три года женился там против воли отца, – Яков отрекся от него. А потом Тарас – пропал без вести. Говорили, что он за что-то сослан в Сибирь.

Яков Маякин – низенький, худой, юркий, с огненно-рыжей клинообразной бородкой – так смотрел зеленоватыми глазами, точно говорил всем и каждому: «Ничего, сударь мой, не беспокойтесь! Я вас понимаю, но ежели вы меня не тронете – не выдам...»

Голова у него была похожа на яйцо и уродливо велика. Высокий лоб, изрезанный морщинами, сливался с лысиной, и казалось, что у этого человека два лица – одно пронизательное и умное, с длинным хрящеватым носом, всем видимое, а над ним – другое, без глаз, с одними только морщинами, но за ними Маякин как бы прятал и глаза и губы, – прятал до времени, а когда оно наступит, Маякин посмотрит на мир иными глазами, улыбнется иной улыбкой.

Он был владельцем канатного завода, имел в городе у пристаней лавочку. В этой лавочке, до потолка заваленной канатом, веревкой, пенькой и паклей, у него была маленькая каморка со стеклянной скрипучей дверью. В каморке стоял большой, старый, уродливый стол, перед ним – глубокое кресло, и в нем Маякин сидел целыми днями, попивая чай, читая «Московские ведомости». Среди купечества он пользовался уважением, славой «мозгового» человека и очень любил ставить на вид древность своей породы, говоря сиплым голосом:

– Мы, Маякины, еще при матушке Екатерине купцами были, – стало быть, я – человек чистой крови...

В этой семье сын Игната Гордеева прожил шесть лет. На седьмом году Фома, большеголовый, широкогрудый мальчик, казался старше своих лет и по росту и по серьезному взгляду миндалевидных, темных глаз. Молчаливый и настойчивый в своих детских желаниях, он по целым дням возился с игрушками вместе с дочерью Маякина – Любой, под безмолвным надзором одной из родственниц, рябой и толстой старой девы, которую почему-то звали Бузя, – существо чем-то испуганное, даже с детьми она говорила вполголоса, односложными словами. Зная множество молитв, она не рассказывала Фоме ни одной сказки.

С девочкой Фома жил дружно, но, когда она чем-нибудь сердила или дразнила его, он бледнел, ноздри его раздувались, он смешно тарачил глаза и азартно бил ее. Она плакала, бежала к матери и жаловалась ей, но Антонина любила Фому и на жалобы дочери мало обращала внимания, что еще более скрепляло дружбу детей. День Фомы был длинен, однообразен. Встав с постели и умывшись, он становился перед образом и, под нашептывание Бузи, читал

длинные молитвы. Потом – пили чай и много ели сдобных булок, лепешек, пирожков. После чая – летом – дети отправлялись в густой, огромный сад, спускавшийся в овраг, на дне которого всегда было темно. Оттуда веяло сыростью и чем-то жутким. Детей не пускали даже на край оврага, и это вселило в них страх к оврагу. Зимой, от чая до обеда, играли в комнатах, если на дворе было очень морозно, или шли на двор и там катались с большой ледяной горы.

В полдень обедали – «по-русски», как говорил Маякин. Сначала на стол ставили большую чашку жирных щей с ржаными сухарями в них, но без мяса, потом те же щи ели с мясом, нарезанным мелкими кусками, потом жареное – поросенка, гуся, телятину или сычуг с кашей, – потом снова подавали чашку похлебки с потрохами или лапши, и заключалось все это чем-нибудь сладким и сдобным. Пили квасы: брусничный, можжевельный, хлебный, – их всегда у Антонины Ивановны было несколько сортов. Ели молча, лишь вздыхая от усталости; детям ставили отдельную чашку для обоих, все взрослые ели из одной. Разомлев от такого обеда – ложились спать, и часа два-три кряду в доме Маякина слышался только храп и сонные вздохи.

Проснувшись – пили чай и разговаривали о городских новостях, – о певчих, дяконах, свадьбах, о заторном поведении того или другого знакомого купца... После чая Маякин говорил жене:

– Ну-ка, мать, дай-ка сюда Библию-то...

Чаще всего Яков Тарасович читал книгу Иова. Надевши на свой большой, хищный нос очки в тяжелой серебряной оправе, он обводил глазами слушателей – все ли на местах?

Они все сидели там, где он привык их видеть, и на лицах у них было знакомое ему выражение благочестия, тупое и боязливое.

– «Был человек в земле Уц...» – начинал Маякин сиплым голосом, и Фома, сидевший рядом с Любой в углу комнаты на диване, уже знал, что сейчас его крестный замолчит и погладит себя рукой по лысине. Он сидел и, слушая, рисовал себе человека земли Уц. Человек этот был высок и наг, глаза у него были огромные, как у Нерукотворного Спаса, и голос – как большая медная труба, на которой играют солдаты в лагерях. Человек с каждой минутой все рос; дорастая до неба, он погружал свои темные руки в облака и, разрывая их, кричал страшным голосом:

«На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого бог окружил мраком?»

Фоме становилось боязно, и он вздрагивал; дрема отлетала от него, он слышал голос крестного, который, пощипывая бородку, с тонкой усмешкой говорил:

– Ишь ведь как дерзит...

Мальчик знал, что крестный говорит это о человеке из земли Уц, и улыбка крестного успокаивала мальчика. Не изломает неба, не разорвет его тот человек своими страшными руками... И Фома снова видит человека – он сидит на земле, «тело его покрыто червями и пыльными струпами, кожа его гноится». Но он уже маленький и жалкий, он просто – как нищий на церковной паперти...

Вот он говорит:

– «Что такое человек, чтоб быть ему чистым и чтоб рожденному женщиной быть праведным?»

– Это он – богу говорит... – внушительно пояснял Маякин. – Как, говорит, могу быть праведным, ежели я – плоть? Это – богу вопрос...

И отец победоносно и вопросительно оглядывает слушательниц.

– Удостоился... праведник... – вздыхая, отвечают они.

Яков Маякин, посмеиваясь, оглядывает их и говорит:

– Дуры!.. Ведите-ка ребят-то спать...

Игнат бывал у Маякиных каждый день, привозил сыну игрушек, хватал его на руки и тискал, но порой недоволен и с худо скрытым беспокойством говорил ему:

– Чего ты бука какой? Чего ты мало смеешься?

И жаловался куму:

– Боюсь я – Фомка-то в мать бы не пошел... Глаза у него невеселые...

– Рано больно беспокоишься, – усмехался Маякин.

Он тоже любил крестника; и, когда однажды Игнат объявил ему, что возьмет Фому к себе, – Маякин искренно огорчился.

– Оставь!.. – просил он. – Смотри – привык к нам мальчишка-то, плачет вон...

– Перестанет!.. Не для тебя я сына родил. У вас тут дух тяжелый... скучно, ровно в монастыре. Это вредно ребенку. А мне без него – нерадостно. Придешь домой – пусто. Не глядел бы ни на что. Не к вам же мне переселиться ради него, – не я для него, он для меня. Так-то. Сестра Анфиса приехала – присмотр за ним будет...

И мальчика привезли в дом отца.

Там встретила его смешная старуха с длинным крючковатым носом и большим ртом без зубов. Высокая, сутулая, одетая в серое платье, с седыми волосами, прикрытыми черной шелковой головкой, она сначала не понравилась мальчику, даже испугала его. Но, когда он рассмотрел на ее сморщенном лице черные глаза, ласково улыбавшиеся ему, – он сразу доверчиво ткнулся головой в ее колени.

– Сиротинка моя болезная! – говорила она бархатным, дрожащим от полноты звука голосом и тихо гладила его рукой по лицу. – Ишь прильнул как... дитяtko мое милое!

Было что-то особенно сладкое в ее ласке, что-то совершенно новое для Фомы, и он смотрел в глаза старухе с любопытством и ожиданием на лице. Эта старуха ввела его в новый, дотоле неизвестный ему мир. В первый же день, уложив его в кровать, она села рядом с нею и, наклоняясь над ребенком, спросила его:

– Рассказать ли тебе сказочку?

С той поры Фома всегда засыпал под бархатные звуки голоса старухи, рисовавшего перед ним волшебную жизнь. Жадно питалась душа его красотой народного творчества. Неиссякаемы были сокровища памяти и фантазии у этой старухи; она часто, сквозь дрему, казалась мальчику то похожей на бабу-ягу сказки, – добрую и милую бабу-ягу, – то на красавицу Василису Премудрую. Широко раскрыв глаза, удерживая дыхание, мальчик смотрел в ночной сумрак, наполнявший комнату, видел, как тихо он трепещет от огонька лампы перед образом... Фома наполнял его чудесными картинками сказочной жизни. Безмолвные, но живые тени ползали по стенам до полу; мальчику было страшно и приятно следить за их жизнью, наделять их формами, красками и, создав из них жизнь, – вмиг разрушить ее одним движением ресниц. Что-то новое явилось в его темных глазах, более детское и наивное, менее серьезное; одиночество и темнота, порождая в нем жуткое чувство ожидания чего-то, волновали и возбуждали его любопытство, заставляли его идти в темный угол и смотреть, что скрыто там, в покровах тьмы? Он шел и не находил ничего, но не терял надежды найти...

Отца он боялся, но любил его. Громадный рост Игната, его трубный голос, бородатое лицо, голова в густой шапке седых волос, сильные, длинные руки и сверкающие глаза – все это придавало Игнату сходство со сказочными разбойниками.

Однажды, когда ему шел уже восьмой год, Фома спросил отца, только что возвратившегося из продолжительной поездки куда-то:

– Ты где был?

– По Волге ездил...

– Разбойничал? – тихо спросил Фома.

– Что-о? – протянул Игнат, и брови у него дрогнули.

– Ведь ты разбойник, тятя? Я знаю уж... – хитро прищуривая глаза, говорил Фома, довольный тем, что так легко вошел в скрытую от него жизнь отца.

– Я – купец! – строго сказал Игнат, но, подумав, добродушно улыбнулся и добавил: – А ты – дурашка!.. Я хлебом торгую, пароходами работаю, – видал «Ермака»? Ну вот, это мой пароход... И твой...

– Больно большой он... – со вздохом сказал Фома.

– Ну, я куплю тебе маленький, куда ты сам маленький, – ладно?

– Ладно! – согласился Фома, но, задумчиво помолчав, вновь с сожалением протянул: – А я думал, что ты то-о-же разбойник...

– Я тебе говорю – торговец я! – внушительно повторил Игнат, и в его взгляде на разочарованное лицо сына было что-то недовольное, почти боязливое...

– Как дедушка Федор, калачник? – подумав, спросил Фома.

– Ну вот, как он... только богаче я, денег у меня больше, чем у Федора...

– Много денег?

– Ну... и еще больше бывает...

– Сколько у тебя бочек?

– Чего?

– Денег-то?

– Дурашка! Разве деньги бочками меряют?

– А как же? – оживленно воскликнул Фома и, обратив к отцу свое лицо, стал торопливо говорить ему: – Вон в один город приехал разбойник Максимка и у одного там, богатого, двенадцать бочек деньгами насыпал... да разного серебра, да церковь ограбил... а одного человека саблей зарубил и с колокольни сбросил... он, человек-то, в набат бить начал...

– Это тебе тетка, что ли, рассказала? – спросил Игнат, любуясь оживлением сына.

– Она, а что?

– Ничего! – смеясь, сказал Игнат. – То-то ты и отца в разбойники произвел...

– А может, ты был давно когда? – опять возвратился Фома к своей теме, и по лицу его было видно, что он очень хотел бы услышать утвердительный ответ.

– Не был я... брось это...

– Не был?

– Ну, говорю ведь – не был! Экой ты какой... Разве хорошо – разбойником быть? Они... грешники все, разбойники-то. В бога не веруют... церкви грабят... их проклинают вон, в церквах-то... Н-да... А вот что, сынок, – учиться тебе надо! Пора, брат, уж... Начинай-ка с богом. Зиму-то проучишься, а по весне я тебя в путину на Волгу с собой возьму...

– В училище буду ходить? – робко спросил Фома.

– Сперва дома с теткой поучишься...

И скоро мальчик с утра садился за стол и, водя пальцем по славянской азбуке, повторял за теткой:

– Аз... буки... веди...

Когда дошли до – бра, вра, гра, дра, мальчик долго не мог без смеха читать эти слоги. Эта мудрость давалась Фоме легко, и вот он уже читает первый псалом первой кафизмы Псалтиря:

– «Бла-жен му-ж... иже не иде на... со-вет не-че-сти-вых...»

– Так, миленький, так! Так, Фомушка, верно! – умиленно вторит ему тетка, восхищенная его успехами...

– Молодец Фома! – серьезно говорил Игнат, осведомляясь об успехе сына... – Едем весной в Астрахань, а с осени – в училище тебя!

Жизнь мальчика катилась вперед, как шар под уклон. Будучи его учителем, тетка была и товарищем его игр. Приходила Люба Маякина, и при них старуха весело превращалась в такое же дитя, как и они. Играли в прятки, в жмурки; детям было смешно и приятно видеть, как Анфиса с завязанными платком глазами, разведя широко руки, осторожно выступала по ком-

нате и все-таки натыкалась на стулья и столы, или как она, ища их, лазала по разным укромным уголкам, приговаривая:

– Ах, мошенники... Ах, разбойники... где это они тут забились?

Солнце ласково и радостно светило ветхому, изношенному телу, сохранившему в себе юную душу, старой жизни, украшавшей, по мере сил и умения, жизненный путь детям...

Игнат рано утром уезжал на биржу, иногда не являлся вплоть до вечера, вечером он ездил в думу, в гости или еще куда-нибудь. Иногда он являлся домой пьяный, – сначала Фома в таких случаях бегал от него и прятался, потом – привык, находя, что пьяный отец даже лучше, чем трезвый: и ласковее, и проще, и немножко смешной. Если это случалось ночью – мальчик всегда просыпался от его трубного голоса:

– Анфиса-а! Сестра родная! Допусти ты меня к сыну, – к наследнику – допу-усти!

А тетка уговаривала его укоризненным, плачущим голосом:

– Иди, иди, дрыхни знай, леший ты, окаянный! Ишь назюзился! Седой ведь уж ты...

– Анфиса! Сына я могу видеть? Одним глазом?..

– Чтоб у тебя лопнули оба от пьянства твоего...

Фома знал, что тетка не пустит отца, и снова засыпал под шум их голосов. Когда ж Игнат являлся пьяный днем – его огромные лапы тотчас хватили сына, и с пьяным, счастливым смехом отец носил Фому по комнатам и спрашивал его:

– Фомка! Чего хочешь? Говори! Гостинцев? Игрушек? Проси, ну! Потому ты знай, нет тебе ничего на свете, чего я не куплю. У меня – миллён! И еще больше будет! Понял? Все твое!

И вдруг восторг его гас, как гаснет свеча от сильного порыва ветра. Пьяное лицо вздрагивало, глаза, краснея, наливались слезами, и губы растягивались в пугливую улыбку.

– Анфиса! Ежели он помрет – что я тогда сделаю?

И вслед за этими словами бешенство овладевало им.

– Сожгу все! – ревел он, дико уставившись глазами куда-нибудь в темный угол комнаты. – Истреблю! Порохом взорву!

– Бу-удет, безобразная ты образина! Али ты младенца напугать хочешь? Али, чтобы захворал он, желаешь? – причитала Анфиса, и этого было достаточно, чтоб Игнат поспешно исчезал, бормоча:

– Ну-ну-ну! Иду, иду... Ты только не кричи! Не пугай его...

А если Фоме нездоровилось, отец его, бросая все свои дела, не уходил из дома и, надоедая сестре и сыну нелепыми вопросами и советами, хмурый, с боязнью в глазах, ходил по комнатам сам не свой и охал.

– Ты что бога-то гневишь? – говорила Анфиса. – Смотри, дойдет роптанье твое до господ, и накажет он тебя за жалобы твои на милость его к тебе...

– Эх, сестра! – вздыхал Игнат. – Ты пойми, – ведь ежели что – вся жизнь моя рушится! Для чего жил?.. Неизвестно...

Подобные сцены и резкие переходы отца от одного настроения к другому сначала пугали мальчика, но он скоро привык к ним и, видя в окно отца, тяжело вылезавшего из саней, равнодушно говорил:

– Тетя! Опять пьяный приехал тятка-то.

Пришла весна – и, исполняя свое обещание, Игнат взял сына с собой на пароход, и вот пред Фомой развернулась новая жизнь.

Быстро несется вниз по течению красивый и сильный «Ермак», буксирный пароход купца Гордеева, и по оба бока его медленно движутся навстречу ему берега Волги, – левый, весь облитый солнцем, стелется вплоть до края небес, как пышный, зеленый ковер, а правый взмахнул к небу кручи свои, поросшие лесом, и замер в суровом покое.

Между ними величаво простерлась широкогрудая река; бесшумно, торжественно и неторопливо текут ее воды; горный берег отражается в них черной тенью, а с левой стороны ее украшают золотом и зеленым бархатом песчаные каймы отмелей, широкие луга. То тут, то там, по горе и в лугах являются селенья, солнце сверкает на стеклах окон изб и на парче соломенных крыш, сияют, в зелени деревьев, кресты церквей, лениво кружатся в воздухе серые крылья мельниц, дым из трубы завода вьется в небо. Толпы ребятишек в синих, красных и белых рубашках, стоя на берегу, провожают громкими криками пароход, разбудивший тишину на реке, из-под колес его к ногам детей бегут веселые волны. Вот куча ребят уселась в лодку, они спешно гребут на середину реки, чтоб покачаться на волнах. Из воды смотрят вершины деревьев, иногда целые купы их затоплены разливом и стоят среди волн, как острова. Откуда-то с берега тяжелым вздохом доносится заунывная песня:

– О-э – о-о – еще – о – разок!

Пароход обгоняет плоты, заплескивая их волной. Бревна ходуном ходят под ударами набежавших волн; плотовщики в синих рубахах, пошатываясь на ногах, смотрят на пароход, смеются и что-то кричат. Дородная красавица-беляна боком идет по реке; желтый тес, нагруженный на ней, блестит золотом и тускло отражается в мутной вешней воде. Пассажирский пароход идет навстречу и свистит – гулкое эхо свиста прячется в лесу, в ущельях горного берега, умирает там. Посредине реки сшибаются волны двух судов, бьются о борта их, и суда покачиваются. На пологом склоне горного берега раскинуты зеленые ковры озими, бурые полосы земли под паром и черные – вспаханной под яровое. Птицы, маленькими точками, выются над ними, ясно видны на голубом пологе неба; стадо пасется невдалеке, – издали оно кажется игрушечным; маленькая фигурка пастуха стоит, опираясь на падог, и смотрит на реку.

Всюду блеск, простор и свобода, весело зелены луга, ласково ясно голубое небо; в спокойном движении воды чувствуется сдержанная сила, в небе над нею сияет щедрое солнце мая, воздух напоен сладким запахом хвойных деревьев и свежей листвы. А берега всё идут навстречу, лаская глаза и душу своей красотой, и всё новые картины открываются на них.

На всем вокруг лежит отпечаток медлительности; всё – и природа и люди – живет неуклюже, лениво, – но кажется, что за ленью притаилась огромная сила, – сила необоримая, но еще лишенная сознания, не создавшая себе ясных желаний и целей... И отсутствие сознания в этой полусонной жизни кладет на весь красивый простор ее тени грусти. Покорное терпение, молчаливое ожидание чего-то более живого слышатся даже в крике кукушки, прилетающей по ветру с берега на реку... Заунывные песни точно просят о помощи... Порой в них звучит удаль отчаяния... Река отвечает песням вздохами. И задумчиво качаются вершины деревьев... Тишина...

Целые дни Фома проводил на капитанском мостике рядом с отцом. Молча, широко раскрытыми глазами смотрел он на бесконечную панораму берегов, и ему казалось, что он движется по широкой серебряной тропе в те чудесные царства, где живут чародеи и богатыри сказок. Порой он начинал расспрашивать отца о том, что видел. Игнат охотно и подробно отвечал ему, но мальчику не нравились ответы: ничего интересного и понятного ему не было в них, и не слышал он того, что желал бы услышать. Однажды он со вздохом заявил отцу:

– Тетя Анфиса знает лучше тебя...

– Что она знает? – спросил Игнат, усмехаясь...

– Все, – убежденно ответил мальчик.

Чудесные царства не являлись пред ним. Но часто на берегах реки являлись города, совершенно такие же, как и тот, в котором жил Фома. Одни из них были побольше, другие – поменьше, но и люди, и дома, и церкви – все в них было такое же, как в своем городе. Фома осматривал их с отцом, оставался недоволен ими и возвращался на пароход хмурый, усталый.

– Вот завтра приедем в Астрахань... – сказал однажды Игнат.

– А она – такая же, как все?

– Ну, известно!.. А то – какая же?

– А за ней что?

– Море... Каспийское море называется.

– А что в нем есть?

– Рыба, чудак! Что может в воде быть?

– Город-от Китеж в воде стоит...

– То – другое дело! То – Китеж... В нем – одни праведники жили.

– А в море праведные города не бывают?

– Не бывают... – сказал Игнат и, помолчав, прибавил: – Вода морская – горькая, пить ее нельзя...

– А за морем опять земля будет?

– Известно! Море-то должно же края иметь. Оно – как чашка...

– И опять города там?

– И опять города, – а как же? Только там уж не наша земля будет, а персидская... Видал персияшек, которые вот на ярмарке-то – шептала, урюк, фисташка?

– Видал, – ответил Фома и задумался.

Однажды он спросил отца:

– Много еще земли-то?

– Земли, брат, – о-очень много!

– А на ней все одинаковое?

– То есть что?

– Города и всё...

– Ну, конечно... Все одинаково...

После многих таких разговоров мальчик стал реже, не так упорно смотреть вдаль вопрошающим взглядом черных глаз...

Команда парохода любила его, и он любил этих славных ребят, коричневых от солнца и ветра, весело шутивших с ним. Они мастерили ему рыболовные снасти, делали лодки из древесной коры, возились с ним, катали его по реке во время стоянок, когда Игнат уходил в город по делам. Мальчик часто слышал, как поругивали его отца, но не обращал на это внимания и никогда не передавал отцу того, что слышал о нем. Но однажды, в Астрахани, когда пароход грузился топливом, Фома услышал голос Петровича, машиниста:

– Приказал валить столько дров, – тьфу, несообразный человек! Загрузит пароход по самую палубу, а потом орет – машину, говорит, портишь часто... масло, говорит, зря льешь...

Голос седого и сурового лоцмана отвечал:

– А все жадность его непомерная – дешевле здесь топливо, вот он и старается... Жаден, дьявол!

– Жаден...

Повторенное несколько раз кряду слово запало в память Фомы, и вечером, ужиная с отцом, он вдруг спросил его:

– Тятя!

– Ась?

– Ты жадный?

На вопросы отца он передал ему разговор лоцмана с машинистом. Лицо Игната омрачилось, и глаза гневно сверкнули.

– Вот оно что!.. – проговорил он, тряхнув головой. – Ну, ты не того, – не слушай их. Они тебе не компания, – ты около них поменьше вертись. Ты им хозяин, они – твои слуги, так и знай. Захочем мы с тобой, и всех их до одного на берег швырнем, – они дешево стоят, и их везде как собак нерезаных. Понял? Они про меня много могут худого сказать, – это потому они

скажут, что я им – полный господин. Тут все дело в том завязло, что я удачливый и богатый, а богатому все завидуют. Счастливый человек – всем людям враг...

Дня через два на пароход явились новые и лоцман и машинист.

– А где Яков? – спросил мальчик.

– Рассчитал я его... прогнал!

– За то?

– За то самое...

– И Петровича?

– И его.

Фоме понравилось то, что отец его может так скоро переменять людей на пароходе. Он улыбнулся отцу и, сойдя вниз на палубу, подошел к одному матросу, который, сидя на полу, раскручивал кусок каната, делая швабру.

– А лоцман-то новый уж, – объявил Фома.

– Знаем... Доброго здоровьяца, Фома Игнатьич! Как спал-почивал?

– И машинист новый...

– И машинист... Жалко Петровича-то?

– Нет.

– Ну? А он до тебя такой ласковый был...

– А зачем он тятю ругал?

– О? Али он ругал?

– Ругал, я ведь слышал...

– Мм... а отец-то тоже, значит, слышал?

– Нет, это я ему сказал...

– Ты... Та-ак... – протянул матрос и замолчал, принявшись за работу.

– А тятя мне говорит: «Ты, говорит, здесь хозяин... всех, говорит, можешь прогнать, коли хочешь...»

– Такое дело!.. – сказал матрос, сумрачно поглядывая на мальчика, оживленно хваставшего пред ним своей хозяйской властью. С этого дня Фома заметил, что команда относится к нему как-то иначе, чем относилась раньше: одни стали еще более угодливы и ласковы, другие не хотели говорить с ним, а если и говорили, то сердито и совсем не забавно, как раньше бывало. Фома любил смотреть, когда моют палубу: засучив штаны по колени, матросы, со швабрами и щетками в руках, ловко бегают по палубе, поливают ее водой из ведер, брызгают друг на друга, смеются, кричат, падают, – всюду текут струи воды, и живой шум людей сливается с ее веселым плеском. Раньше мальчик не только не мешал матросам в этой шуточной и легкой работе, но принимал деятельное участие, обливая их водой и со смехом убегая от угроз облить его. Но после расчета Петровича и Якова он чувствовал, что теперь всем мешает, никто не хочет играть с ним и все смотрят на него неласково. Удивленный и грустный, он ушел с палубы наверх, к штурвалу, сел там и стал с обидой задумчиво смотреть на синий берег и зубчатую полосу леса. А внизу, на палубе, игриво плескалась вода и матросы весело смеялись... Ему очень хотелось к ним, но что-то не пускало его туда.

«Держись от них подальше, – вспомнил он слова отца, – ты им хозяин...»

Тогда ему захотелось что-нибудь крикнуть матросам – что-нибудь грозное и хозяйское, так, как отец кричит на них. Он долго придумывал – что бы? И не придумал ничего... Прошло еще дня два, три, и он ясно понял, что команда не любит его. Скучно ему стало на пароходе, и все чаще и чаще из разноцветного тумана новых впечатлений выплывал пред Фомой затемненный ими образ ласковой тетки Анфисы с ее сказками, улыбками и мягким смехом, от которого на душу мальчика веяло радостным теплом. Он все еще жил в мире сказок, но безжалостная рука действительности уже ревностно рвала красивую паутину чудесного, сквозь которую мальчик смотрел на все вокруг него. Случай с лоцманом и машинистом направил внимание

мальчика на окружающее; глаза Фомы стали зорче: в них явилась сознательная пытливость, и в его вопросах отцу зазвучало стремление понять, – какие нити и пружины управляют действиями людей? Однажды пред ним разыгралась такая сцена: матросы носили дрова, и один из них, молодой, кудрявый и веселый Ефим, проходя с носилками по палубе парохода, громко и сердито говорил:

– Нет, уж это без всякой совести! Не было у меня такого уговору, чтобы дрова таскать. Матрос – ну, стало быть, дело твое ясное!.. А чтобы еще и дрова... спасибо! Это значит – драть с меня ту шкуру, которой я не продал... Это уж без совести! Ишь ты, какой мастер соки-то из людей выжимать.

Мальчик слушал эту воркотню и знал, что дело касается его отца. Он видел, что хотя Ефим ворчит, но на носилках у него дров больше, чем у других, и ходит он быстрее. Никто из матросов не откликнулся на воркотню Ефима, и даже тот, который работал в паре с ним, молчал, иногда только протестуя против усердия, с каким Ефим накладывал дрова на носилки.

– Будет! – хмуро говорил он. – Чай, не на лошадь грузишь.

– А ты, знай, молчи! Впрягли тебя, ну и вези, не брыкайся... И ежели кровь из тебя будут сосать – тоже молчи, – что ты можешь сказать?

Вдруг откуда-то явился Игнат, подошел к матросу и, став против него, сурово спросил:

– Про что говоришь?

– Говорю, стало быть, как умею... – запинаясь, ответил Ефим. – Уговора, мол, не было... чтобы молчать мне...

– А кто это кровь сосать будет? – поглаживая бороду спросил Игнат.

Матрос, поняв, что попался и увернуться некуда, бросил из рук полено, вытер ладони о штаны и, глядя прямо в лицо Игната, смело сказал:

– А разве не правда моя? Не сосешь ты...

– Я?

– Ты.

Фома видел, как отец взмахнул рукой, – раздался какой-то лязг, и матрос тяжело упал на дрова. Он тотчас же поднялся и вновь стал молча работать... На белую кору березовых дров капала кровь из его разбитого лица, он вытирал ее рукавом рубахи, смотрел на рукав и, вздыхая, молчал. А когда он шел с носилками мимо Фомы, на лице его, у переносья, дрожали две большие мутные слезы, и мальчик видел их...

Обедая с отцом, он был задумчив и посматривал на Игната с боязнью в глазах.

– Ты что хмуришься? – ласково спросил его отец.

– Так...

– Нездоровится, может?

– Нету...

– То-то... Ты, коли что, скажи...

– Сильный ты!.. – вдруг задумчиво проговорил мальчик.

– Я-то? Ничего... Бог не обидел и силой.

– Ка-ак ты его давеча треснул! – тихо воскликнул мальчик, опуская голову.

Игнат нес ко рту кусок хлеба с икрой, но рука его остановилась, удержанная восклицанием сына; он вопросительно взглянул на его склоненную голову и спросил:

– Это – Ефимку, что ли?

– Да... до крови!.. Как шел он потом, так плакал... – вполголоса рассказывал мальчик.

– Мм... – промычал Игнат, пережевывая кусок. – Жалеешь ты его?

– Жалко! – со слезами в голосе сказал Фома.

– Н-да... Вишь ты что!.. – сказал Игнат.

Потом, помолчав, он налил рюмку водки, выпил ее и заговорил внушительно:

– Жалеть его – не за что. Зря орал, ну и получил, сколько следовало... Я его знаю: он – парень хороший, усердный, здоровый и – неглуп. А рассуждать – не его дело: рассуждать я могу, потому что я – хозяин. Это не просто, хозяином-то быть!.. От зуботычины он не помрет, а умнее будет... Так-то... Эх, Фома! Младенец ты... ничего не понимаешь... надо учить тебя жить-то... Может, уж немного осталось веку моего на земле...

Игнат помолчал, еще выпил водки и снова вразумительно начал:

– Жалеть людей надо... это ты хорошо делаешь! Только – нужно с разумом жалеть... Сначала посмотри на человека, узнай, какой в нем толк, какая от него может быть польза? И ежели видишь – сильный, способный к делу человек – пожалей, помоги ему. А ежели который слабый, к делу не склонен – плюнь на него, пройди мимо. Так и знай – который человек много жалуется на все, да охает, да стонет – грош ему цена, не стоит он жалости, и никакой пользы ты ему не принесешь, ежели и поможешь... Только пуще киснут да балуются такие от жалости к ним... Живучи у крестного, насмотрелся ты там на разную шушеру: странники эти, приживальщики, несчастенькие... и разные гады... Об них забудь... это не люди, а так, скорлупа одна, ни на что они не годны... Это вроде как клопы, блохи и другая нечисть... И не для бога они живут – нету у них никакого бога, имя же его все призывают, чтобы дураков разжалобить да от их жалости чем-нибудь пузо себе набить. Для пуза своего живут они и кроме как – пить, жрать, спать да стонать – ничего не умеют делать... От них – один развал души. Только запинаешься за них. И хороший человек среди них – как свежее яблоко среди гнилых – испортиться может... Мал ты, вот что, – не можешь ты понимать моих слов... Ты тому помогай, который в беде стоек... он, может, и не попросит у тебя помощи твоей, так ты сам догадайся, да помоги ему без его спроса... Да который гордый и может обидеться на помощь твою – ты виду ему не подавай, что помогаешь... Вот как надо, по разуму-то! Тут – такое дело: упали, скажем, две доски в грязь – одна гнилая, другая – хорошая, здоровая доска. Что ты должен сделать? В гнилой доске – какой прок? Ты оставь ее, пускай в грязи лежит, по ней пройти можно, чтобы ног не замарать... А здоровую – подними и поставь на солнце, она – не тебе, так другому – на что-нибудь годится. Так-то, сынок! Слушай меня да помни... А Ефимку жалеть не за что, – он парень дельный, цену себе понимает... Из него плюхой душу не вышибешь... Вот я посмотрю недельку время, да к штурвалу его поставлю... А там, гляди, лоцманом будет... И ежели капитаном его сделать – ловкий будет капитан! Вот как люди-то растут... Я, брат, сам эту науку проходил, – тоже немало плюх съел в его-то годы... Нам, сынок, всем жизнь-то – не мать родная, – наша строгая хозяйка она...

Часа два говорил Игнат сыну о своей молодости, о трудах своих, о людях и страшной силе их слабости, о том, как они любят и умеют притворяться несчастными для того, чтобы жить на счет других, и снова о себе – о том, как из простого работника он сделался хозяином большого дела.

Мальчик слушал его речь, смотрел на него и чувствовал, что отец как будто все ближе подвигается к нему. И хоть не звучало в рассказе отца того, чем были богаты сказки тетки Анфисы, но зато было в них что-то новое – более ясное и понятное, чем в сказках, и не менее интересное. В маленьком сердце забилося что-то сильное и горячее, и его потянуло к отцу. Игнат, должно быть, по глазам сына отгадал его чувства: он порывисто встал с места, схватил его на руки и крепко прижал к груди. А Фома обнял его за шею и, прижавшись щекой к его щеке, молчал, дыша ускоренно.

– Сынишка!.. – глухо шептал Игнат. – Милый ты мой... радость ты моя!.. Учись, пока я жив... э-эх, трудно жить!

Дрогнуло сердце ребенка от этого шепота, он стиснул зубы, и горячие слезы брызнули из его глаз...

Пароход шел назад, вверх по Волге. Душной июльской ночью, когда небо было покрыто густыми, черными тучами и все на реке было зловеще спокойно, – приплыли в Казань и встали

около Услона в хвосте огромного каравана судов. Лязг якорных цепей и крики команды разбудили Фому; он посмотрел в окно и увидел: далеко, во тьме, сверкали маленькие огоньки; вода была черна и густа, как масло, – и больше ничего не видать. Сердце мальчика жутко вздрогнуло, и он стал внимательно слушать. Откуда-то долетала еле слышная жалобная песня, унывая, как причитание; на караване перекликались сторожа, сердито шипел пароход, разводя пары... Черная вода реки грустно и тихо плескалась о борта судов. Всматриваясь во тьму пристально, до боли в глазах, мальчик различал в ней черные груды и огоньки, еле горевшие высоко над ними... Он знал, что это были баржи, но знание не успокаивало его, сердце билось неровно, а в воображении вставали какие-то пугающие темные образы.

– О-о... о!.. – донесся издали протяжный крик и закончился похоже на рыдание... Вот кто-то прошел по палубе к борту парохода...

– О-о-о... – раздалось опять, но уже где-то ближе...

– Яфим! – вполголоса заговорили на палубе. – Черт! Вставай! Бери багор...

– О-о-о!.. – застонали где-то близко, и Фома, вздрогнув, откатнулся от окна.

Странный звук подплывал все ближе и рос в своей силе, рыдал и таял в черной тьме. А на палубе тревожно шептали:

– Яфимка! Да встань – гость плывет!

– Де? – раздался торопливый вопрос... По палубе зашлепали босые ноги, послышалась возня, мимо лица мальчика сверху скользнули два багра и почти бесшумно вонзились в густую воду...

– Го-о-ость! – зарыдали где-то близко, и раздался тихий, странный плеск воды.

Мальчик дрожал от ужаса пред этим грустным криком, но не мог оторвать своих рук от окна и глаз от воды.

– Зажги фонарь... не видать ничего!..

И вот на воду упало пятно мутного света... Фома видел, что вода тихо колыхнется, рябь идет по ней, точно ей больно и она вздрагивает от боли.

– Гляди... гляди!.. – испуганно зашептали на палубе.

В то же время в пятне света на воде явилось большое, страшное человеческое лицо с белыми оскаленными зубами. Оно плыло и покачивалось на воде, зубы его смотрели прямо на Фому, и точно оно, улыбаясь, говорило:

«Эх, мальчик, мальчик... хо-олодно!..»

Багры дрогнули, поднялись в воздухе, потом снова опустились в воду.

– Пихай его... веди!.. Смотри – подбьет в колесо...

Багры скользили по борту и царапались об него со звуком, похожим на скрип зубов. Шлепанье ног о палубу постепенно удалялось на корму... И вот там вновь раздался стонущий заупокойно возглас:

– Го-о-ость...

– Тятя! – закричал Фома. – Тя-ятя...

Отец вскочил на ноги и бросился к нему.

– Что там? Что они делают? – кричал Фома.

Огромными прыжками Игнат выскочил вон из каюты с диким ревом. Он возвратился скоро, раньше, чем Фома, качаясь на ногах и оглядываясь вокруг себя, добрался от окна до отцовской постели.

– Испугали тебя, – ну, ничего! – говорил Игнат, взяв его на руки. – Ложись-ка со мной...

– Что это? – тихо спрашивал Фома.

– Это, сынок, ничего... Это – утопший... Утонул человек и плывет... Ничего! Ты не бойся, он уже уплыл...

– Зачем они толкали его? – допрашивал мальчик, крепко прижавшись к отцу и закрыв глаза от страха...

– А – так уж надо... Подобьет его вода в колесо... нам, к примеру... завтра увидит полиция... возня пойдет, допросы... задержат нас. Вот его и провожают дальше... Ему что? Он уж мертвый... ему это не больно, не обидно... а живым из-за него беспокойство было бы... Спи, сынок!..

– Так он и поплывет?

– Так и поплывет... Где-нибудь вынут – схоронят...

– А рыба его съест?

– Рыба не ест человечесьё тело... Раки едят...

Страх Фомы таял, но пред глазами его все еще покачивалось на черной воде страшное лицо с оскаленными зубами.

– А он кто?

– Бог его знает! Ты скажи о нем богу: господи, мол, упокой душу его!

– Господи, упокой душу его! – шепотом повторил Фома.

– Ну, вот... И спи, не бойся!.. Он уж теперь далеко-о! Плывет себе... Вот – не подходи неосторожно к борту-то, – упадешь этак – спаси бог! – в воду и...

– А он тоже упал?

– Известно, упал... Может, пьян был... А может, сам бросился... Есть и такие, которые сами... Возьмет да и бросится в воду... И утонет... Жизнь-то, брат, так устроена, что иная смерть для самого человека – праздник, а иная – для всех благодать!

– Тятя...

– Спи, родной...

III

В первый же день школьной жизни Фома, ошеломленный живым и бодрым шумом задорных шалостей и буйных, детских игр, выделил из среды мальчиков двух, которые сразу показались ему интереснее других. Один сидел впереди его. Фома, поглядывая исподлобья, видел широкую спину, полную шею, усеянную веснушками, большие уши и гладко остриженный затылок, покрытый ярко-рыжими волосами.

Когда учитель, человек с лысой головой и отвислой нижней губой, позвал: «Смолин, Африкан!» – рыжий мальчик, не торопясь, поднялся на ноги, подошел к учителю, спокойно уставился в лицо ему и, выслушав задачу, стал тщательно выписывать мелом на доске большие круглые цифры.

– Хорошо, – довольно! – сказал учитель. – Ежов, Николай, – продолжай!

Один из соседей Фомы по парте, – непоседливый, маленький мальчик с черными, мышинными глазками, – вскочил с места и пошел между парт, за все задевая, вертя головой во все стороны. У доски он схватил мел и, привстав на носки сапог, с шумом, скрипя и соря мелом, стал тыкать им в доску, набрасывая на нее мелкие, неясные знаки.

– Ти-ше, – сказал учитель, болезненно сморщив желтое лицо с усталыми глазами.

А Ежов звонко и быстро говорил:

– Теперь мы узнали, что первый разносчик получил барыша семнадцать копеек...

– Довольно!.. Гордеев! Что нужно сделать, чтобы узнать, сколько барыша получил второй разносчик?

Наблюдая за поведением мальчиков, – так не похожих друг на друга, – Фома был захвачен вопросом врасплох и – молчал.

– Не знаешь?.. Объясни ему, Смолин...

Смолин, аккуратно вытиравший тряпкой пальцы, испачканные мелом, положил тряпку, не взглянув на Фому, окончил задачу и снова стал вытирать руки, а Ежов, улыбаясь и подпрыгивая на ходу, отправился на свое место.

– Эх ты! – зашептал он, усаживаясь рядом с Фомой и уж кстати толкая его кулаком в бок. – Чего не можешь! Всего-то барыша сколько? тридцать копеек... а разносчиков – двое... один получил семнадцать – ну, сколько другой?

– Знаю я, – шепотом ответил Фома, чувствуя себя сконфуженным и рассматривая лицо Смолина, степенно возвращавшегося на свое место. Ему не понравилось это лицо – круглое, пестрое от веснушек, с голубыми глазами, заплывшими жиром.

А Ежов больно щипал ему ногу и спрашивал:

– Ты чей сын – Шалого?

– Да...

– Ишь... Хочешь, я тебе всегда подсказывать буду?

– Хочу...

– А что дашь за это?

Фома подумал и спросил:

– А ты знаешь сам-то?

– Я? Я – первый ученик...

– Вы, там! Ежов – опять ты разговариваешь? – крикнул учитель.

Ежов вскочил на ноги и бойко сказал:

– Это не я, Иван Андреич, – это Гордеев!

– Оба они шепчутся, – невозмутимо объявил Смолин.

Жалобно сморщив лицо и смешно шлепая своей большой губой, учитель пожурил всех их, но его выговор не помешал Ежову тотчас же снова зашептать:

– Ладно, Смолин! Я тебе припомню за ябеду...

– А ты зачем сваливаешь на новенького? – не поворачивая к ним головы, тихо спрашивал Смолин.

– Ладно, ладно! – шипел Ежов.

Фома молчал, искоса поглядывая на юркого соседа, который одновременно и нравился ему, и возбуждал в нем желание отодвинуться от него подальше. Во время перемены он узнал от Ежова, что Смолин – тоже богатый, сын кожевенного заводчика, а сам Ежов – сын сторожа из казенной палаты, бедняк. Это было ясно по костюму бойкого мальчика, сшитому из серой бумазеи, украшенному заплатами на коленях и локтях, по его бледному, голодному лицу, по всей маленькой, угловатой и костлявой фигуре. Говорил Ежов металлическим альтом, поясняя свою речь гримасами и жестами, и часто употреблял в речи свои слова, значение которых было известно только ему одному.

– Мы с тобой будем товарищи, – объявил он Фоме.

– А ты зачем давеча учителю на меня пожаловался? – напомнил ему Гордеев, подозрительно косясь на него.

– Вот! Что тебе? Ты новенький и богатый, – с богатых учитель-то не взыскивает... А я – бедный объедон, меня он не любит, потому что я озорничаю и никакого подарка не приносил ему... Кабы я плохо учился – он бы давно уж выключил меня. Ты знаешь – я отсюда в гимназию уйду... Кончу второй класс и уйду... Меня уж тут один студент приготавливает... Там я так буду учиться – только держись! А у вас лошадей сколько?

– Три... Зачем тебе много учиться? – спросил Фома.

– Потому что – я бедный... Бедным нужно много учиться, от этого они тоже богатыми станут, – в доктора пойдут, в чиновники, в офицеры... Я тоже буду звякарем... сабля на боку, шпоры на ногах – дрын, дрын! А ты чем будешь?

– Н-не знаю!.. – задумчиво сказал Фома, разглядывая товарища.

– Тебе ничем не надо быть... А голубей ты любишь?

– Люблю...

– Какой ты фуфлыга! У-у! О-о! – передразнивал Ежов медленную речь Фомы. – Сколько у тебя голубей?

– У меня нет...

– Эх ты! Богатый, а не завел голубей... У меня и то три есть, – скобарь один, да голубка пегая, да турман... Кабы у меня отец был богатый, – я бы сто голубей завел и все бы гонял целый день. И у Смолина есть голуби – хорошие! Четырнадцать, – турмана-то он мне подарил. Только – все-таки он жадный... Все богатые – жадные! А ты тоже – жадный?

– Н...не знаю, – нерешительно сказал Фома.

– Ты приходи к Смолину, вместе все трое и будем гонять...

– Ладно... ежели меня пустят...

– Разве отец-то не любит тебя?

– Любит.

– Ну, так пустит... Только ты не говори, что и я тоже пойду, – со мной, пожалуй, и взаправду не пустит... Ты скажи – к Смолину, мол, пустите... Смолин!

Подошел толстый мальчик, и Ежов приветствовал его, укоризненно покачивая головой:

– Эх ты, рыжий ябедник! Не стоит с тобой и дружить, – булыжник!

– Что ты ругаешься? – спокойно спросил Смолин, разглядывая Фому неподвижными глазами.

– Я не ругаюсь, а правду говорю, – пояснил Ежов, весь подергиваясь от оживления. – Слушай! Хотя ты и кисель, да – ладно уж! В воскресенье после обедни я с ним приду к тебе...

– Приходите, – кивнул головой Смолин.

– Придем... Скоро уж звонок, побегу чижа продавать, – объявил Ежов, вытаскивая из кармана штанишек бумажный пакетик, в котором билось что-то живое. И он исчез со двора училища, как ртуть с ладони.

– Ка-акой он! – сказал Фома, пораженный живостью Ежова и вопросительно глядя на Смолина.

– Ловкий, – пояснил рыжий мальчик.

– И веселый, – добавил Фома.

– И веселый, – согласился Смолин.

Потом они помолчали, оглядывая друг друга.

– Придешь ко мне с ним? – спросил рыжий.

– Приду...

– Приходи... У меня хорошо...

Фома ничего не сказал на это. Тогда Смолин спросил его:

– У тебя много товарищей?

– Никого нет...

– У меня тоже до училища никого не было... только братья двоюродные... Вот теперь у тебя будут сразу двое товарищей...

– Да, – сказал Фома.

– Когда есть много товарищей – это весело... И учиться легче – подсказывают...

– А ты хорошо учишься?

– Я – все хорошо делаю, – спокойно сказал Смолин.

Задребезжал звонок, точно испуганный и торопливо побежавший куда-то...

Сидя в школе, Фома почувствовал себя свободнее и стал сравнивать своих товарищей с другими мальчиками. Вскоре он нашел, что оба они – самые лучшие в школе и первыми бросаются в глаза, так же резко, как эти две цифры 5 и 7, не стертые с черной классной доски. И Фоме стало приятно оттого, что его товарищи лучше всех остальных мальчиков.

Из школы они трое пошли вместе, но Ежов скоро свернул в какой-то узкий переулок. Смолин же шел с Фомой вплоть до его дома и, прощаясь, сказал:

– Вот видишь – и ходить нам вместе!

Дома Фому встретили торжественно: отец подарил мальчику тяжелую серебряную ложку с затейливым вензелем, а тетка – шарф своего вязанья. Его ждали обедать, приготовили любимые им блюда и тотчас же, как только он разделся, усадили за стол и стали спрашивать.

– Ну что, понравилось в училище? – спрашивал Игнат, с любовью глядя на румяное и оживленное лицо сына.

– Ничего... Славно! – отвечал Фома.

– Милый ты мой! – умиленно вздыхала тетка. – Ты, смотри, товарищам-то не поддавайся... Чуть они чем обидят тебя, ты сейчас учителю и скажи про них...

– Ну, слушай ее! – усмехнулся Игнат. – Этого не делай никогда! Сам со всяким обидчиком старайся управиться, своей рукой накажи! Ребятишки-то хорошие?

– Да, – Фома улыбнулся, вспоминая об Ежове. – Один такой бойкий – беда!

– Чей таков?

– Сторожа сын...

– Боек, говоришь?

– Страсть!

– Ну – бог с ним! А другой?

– А другой – ры-ижий весь... Смолин...

– А! Митрия Иваныча сын, видно... Этого держись, компания хорошая... Митрий – умный мужик... коли сын в него – это ладно! Вот другой-то... Ты, Фома, вот что: ты при-

гласи-ка их в воскресенье в гости к себе. Я куплю гостинцев, угощать ты их будешь... Поглядим, какие они...

– В воскресенье-то Смолин меня к себе зовет, – объявил Фома, вопросительно взглянув на отца.

– Ишь ты... Ну, поди! Это ничего, поди... Присматривайся, какие есть люди на земле... Один, без дружбы, не проживешь... Вот я с твоим крестным двадцать лет с лишком дружу – многим от ума его попользовался. Так и ты, – старайся дружить с теми, которые лучше, умнее тебя... Около хорошего человека потрешься – как медная копейка о серебро – и сам за двугривенный сойдешь... – И, смеясь своему сравнению, Игнат добавил: – Это – шучу я. Старайся не поддельным, а настоящим быть... Ум имей хоть маленький, да свой... Что, уроков-то много задали тебе?

– Много! – вздохнул мальчик, и вздоху его откликнулась тяжелым вздохом тетка...

– Ну – учи! Хуже других в науке не будь. Хоша скажу тебе вот что: в училище, – хоть двадцать пять классов в нем будь, – ничему, кроме как писать, читать да считать, – не научат. Глупостям разным можно еще научиться, – но не дай тебе бог! Запору, ежели что... Табак курить будешь, губы отрежу...

– Бога помни, Фомушка, – сказала тетка. – Господа нашего, смотри, не забудь...

– Это верно! Бога и родителя – чти! Но я про то хочу сказать, что книги-то учебные – дело еще малое... Нужны они тебе, как плотнику топор да рубанок; они – инструмент, а тому, как в дело его употребить, – инструмент не научит. Понял?.. Скажем так: дан плотнику в руки топор и должен он им обтесать бревно... Рук да топора тут мало, надо еще уметь ударить по дереву, а не по ноге себе... Выходит, что одних книг мало: надо еще уметь пользоваться ими... Вот это уметь и есть то самое, что будет хитрее всяких книг, а в книгах о нем ничего не написано... Этому, Фома, надо учиться от самой от жизни. Книга – она вещь мертвая, ее как хочешь бери, рви, ломай – она не закричит... А жизнь, чуть ты по ней неверно шагнул, неправильно место в ней себе занял, – тысячью голосов заорет на тебя, да еще и ударит, с ног собьет.

Фома, облокотясь на стол, внимательно слушал отца и, под сильные звуки его голоса, представлял себе то плотника, обтесывающего бревно, то себя самого: осторожно, с протянутыми вперед руками, по зыбкой почве он подкрадывается к чему-то огромному и живому и желает схватить это страшное что-то...

– Человек должен себя беречь для своего дела и путь к своему делу твердо знать... Человек, брат, тот же лоцман на судне... В молодости, как в половодье, – иди прямо! Везде тебе дорога... Но – знай время, когда и за правож взяться надо... Вода сбыла, – там, гляди, мель, там карча, там камень; все это надо усчитать и вовремя обойти, чтобы к пристани доплыть целому...

– Я доплыву! – сказал мальчик, уверенно и гордо глядя на отца.

– Ну? Храбро говоришь! – Игнат засмеялся. И тетка тоже ласково засмеялась.

Со времени поездки с отцом по Волге Фома стал более бойким и разговорчивым с отцом, теткой, Маякиным. Но на улице или где-нибудь в новом для него месте, при чужих людях, он хмурился и посматривал вокруг себя подозрительно и недоверчиво, точно всюду чувствовал что-то враждебное ему, скрытое от него и подстерегающее.

Ночами иногда он вдруг просыпался и подолгу прислушивался к тишине вокруг, пристально рассматривая тьму широко раскрытыми глазами. Пред ним претворялись в образы и картины рассказы отца. Он незаметно для себя путал их со сказками тетки и создавал хаос событий, в котором яркие краски фантазии причудливо переплетались с суровыми тонами действительности. Получалось что-то огромное, непонятное; мальчик закрывал глаза, гнал от себя все это и хотел бы остановить игру воображения, пугавшую его. Но он безуспешно пытался уснуть, а комната все теснее наполнялась темными образами. Тогда он тихо будил тетку:

– Тетя... А тетя...

- Что? Христос с тобой...
- Я приду к тебе, – шептал Фома.
- Пошто? Спи-ка, милуша моя... спи...
- Я боюсь! – сознавался мальчик.
- А ты прочитай про себя «да воскреснет Бог» и перестанешь бояться-то.

Фома лежит с закрытыми глазами и читает молитву. Тишина ночи рисуется пред ним в виде бескрайнего пространства темной воды, она совершенно неподвижна, – разлилась всюду и застыла, нет ни ряби на ней, ни тени движения, и в ней тоже нет ничего, хотя она бездонно глубока. Очень страшно смотреть одному откуда-то сверху, из тьмы, на эту мертвую воду... Но вот раздается звук колотушки ночного сторожа, и мальчик видит, что поверхность воды вздрагивает, по ней, покрывая ее рябью, скачут круглые, светлые шарики... Удар в колокол на колокольне заставляет всю воду всколыхнуться одним могучим движением, и она долго плавно колышется от этого удара, колышется и большое светлое пятно, освещает ее, расширяется от ее центра куда-то в темную даль и бледнеет, тает. Снова тоскливый и мертвый покой в этой темной пустыне...

- Тетя... – умоляюще шепчет Фома.
 - Асиньки?
 - Я к тебе приду...
 - Да иди, иди, роднуша моя...
- Перебравшись на постель к тетке, он жмет к ней и просит:
- Расскажи что-нибудь...
 - Ночью-то? – сонно протестует тетка.
 - Пожа-алуйста...

Ее не приходится долго просить. Позевывая, осипшим от сна голосом, старуха, закрыв глаза, размеренно говорит:

– И вот, сударь ты мой, в некотором царстве, в некотором государстве жили-были муж да жена, и были они бедные-пребедные!.. Уж такие-то несчастные, что и есть-то им было нечего. Походят это они по миру, дадут им где черствую, заваливающую корочку, – тем они день и сыты. И вот родилось у них дите... родилось дите – крестить надо, а как они бедные, угостить им кумов да гостей нечем, – не идет к ним никто крестить! Они и так, они и сяк, – нет никого!.. И взмолились они тогда ко господе: «Господи! Господи!..»

Фома знает эту страшную сказку о крестнике бога, не раз он слышал ее и уже заранее рисует пред собой этого крестника: вот он едет на белом коне к своим крестным отцу и матери, едет во тьме, по пустыне, и видит в ней все нестерпимые муки, коим осуждены грешники... И слышит он тихие стоны и просьбы их:

«О-о-о! Человече! спроси у господи, долго ли еще мучиться нам?»

Тогда мальчику кажется, что это он сам едет в ночи на белом коне, к нему обращены стоны и моления. Сердце его сжимается, слезы выступают на глазах, он крепко их закрыл и боится открыть, беспокойно возясь в постели...

– Спи, дитячко мое, Христос с тобой! – говорит старуха, прерывая свою повесть о муках людей.

Утром после такой ночи Фома вставал, торопливо мылся, наскоро пил чай и бежал в училище, снабженный сдобными и сладкими пирожками, – их там ждал всегда голодный Ежов, питавшийся от щедрот своего богатого товарища.

– Припер пожарать? – встречал он Фому, поводя своим острым носом. – Давай, а то я ушел из дому без ничего... Проспал, черт е дери, – до двух часов ночи все учился... Ты задачи сделал?

- Не сделал.
- Эх ты, карамора! Ну, я их тебе сейчас раскатаю!

Впиваясь в пирог мелкими, острыми зубами, он мурлыкал, как котенок, притопывал в такт левой ногой и в то же время решал задачу, бросая Фоме короткие фразы:

– Видал? В час вытекло восемь ведер... а сколько часов текло – шесть? Эх, сладко вы едите!.. Шесть, стало быть, надо помножить на восемь... А ты любишь пироги с зеленым луком? Я – страсть как! Ну вот, из первого крана в шесть часов вытекло сорок восемь... а всего налили в чан девяносто... дальше-то понимаешь?

Ежов нравился Фоме больше, чем Смолин, но со Смолиным Фома жил дружнее. Он удивлялся способностям и живости маленького человека, видел, что Ежов умнее его, завидовал ему и обижался на него за это и в то же время жалел его снисходительной жалостью сытого к голодному. Может быть, именно эта жалость больше всего другого мешала ему отдать предпочтение живому мальчику перед скучным, рыжим Смолиным. Ежов, любя посмеяться над сытыми товарищами, часто говорил им:

– Эх вы, чемоданчики с пирожками!..

Фома сердился на него за насмешки и однажды, задетый за сердце, презрительно и зло сказал:

– А ты – попрошайка, нищий!

Желтое лицо Ежова покрылось пятнами, и он медленно ответил:

– Ладно, пускай!.. А вот я не буду подсказывать тебе – и станешь ты бревном!

Дня три они не разговаривали друг с другом, к огорчению учителя, который должен был в эти дни ставить единицы и двойки сыну всеми уважаемого Игната Гордеева.

Ежов знал все: он рассказывал в училище, что у прокурора родила горничная, а прокуророва жена облила за это мужа горячим кофе; он мог сказать, когда и где лучше ловить ершей, умел делать западни и клетки для птиц; подробно сообщал, отчего и как повесился солдат в казарме, на чердаке, от кого из родителей учеников учитель получил сегодня подарок и какой именно подарок.

Круг интересов и знаний Смолина ограничивался бытом купеческим; рыжий мальчик любил определять, кто кого богаче, взвешивая и оценивая их дома, суда, лошадей. Все это он знал подробно, говорил об этом с увлечением.

К Ежову он относился так же снисходительно, как и Фома, но более дружески и ровно. Каждый раз, когда Гордеев ссорился с Ежовым, он стремился примирить их, а как-то раз, идя домой из школы, сказал Фоме:

– Зачем ты все ругаешься с Ежовым?

– А что он больно зазнается? – сердито ответил Фома.

– То и зазнается, что ты учишься плохо, а он всегда помогает тебе... Он – умный... А что бедный, так – разве в этом он виноват? Он может выучиться всему, чему захочет, и тоже будет богат...

– Комар он какой-то, – пренебрежительно сказал Фома, – пищит, пищит, да вдруг и укусит!

Но в жизни мальчиков было нечто объединявшее всех их, были часы, в течение которых они утрачивали сознание разницы характеров и положения. По воскресеньям они все трое собирались у Смолина и, взлезая на крышу флигеля, где была устроена обширная голубятня, – выпускали голубей.

Красивые сытые птицы, встряхивая белоснежными крыльями, одна за другой вылетали из голубятни, в ряд усаживались на коньке крыши и, освещенные солнцем, воркуя, красовались перед мальчиками.

– Шугай! – просил Ежов, вздрагивая от нетерпения.

Смолин взмахивал в воздухе длинным шестом с мочалом на конце и свистал.

Испуганные голуби бросались в воздух, наполняя его торопливым шумом крыльев. И вот они плавно, описывая широкие круги, вздымаются вверх, в голубую глубину неба, плывут,

сверкая серебром и снегом оперения, все выше. Одни из них стремятся достичь до купола небес плавным полетом сокола, широко распростирая крылья и как бы не двигая ими, другие – играют, кувыркаются в воздухе, снежным комом падают вниз и снова, стрелою, летят в высоту. Вот вся стая их кажется неподвижно стоящей в пустыне неба и, все уменьшаясь, тонет в ней. Закинув головы, мальчики молча любят птиц, не отрывая глаз от них – усталых глаз, сияющих тихой радостью, не чуждой завистливого чувства к этим крылатым существам, так свободно улетевшим от земли в чистую, тихую область, полную солнечного блеска. Маленькая группа едва заметных глазу точек, вкрапленная в синеву неба, влечет за собой воображение детей, и Ежов определяет общее всем чувство, когда тихо и задумчиво говорит:

– Нам бы, братцы, так полетать...

Объединенные восторгом, молчаливо и внимательно ожидающие возвращения из глубины неба птиц, мальчики, плотно прижавшись друг к другу, далеко – как их голуби от земли – ушли от веяния жизни; в этот час они просто – дети, не могут ни завидовать, ни сердиться; чуждые всему, они близки друг к другу, без слов, по блеску глаз, понимают свое чувство, и – хорошо им, как птицам в небе.

Но вот голуби опустились на крышу, утомленные полетом, загнаны в голубятню.

– Братцы! Айда за яблоками?! – предлагает Ежов, вдохновитель всех игр и походов.

Его зов изгоняет из детских душ навеянное голубями мирное настроение, и вот они осторожно, походкой хищников, с хищной чуткостью ко всякому звуку крадутся по задворкам в соседний сад. Страх быть пойманным умеряется надеждой безнаказанно украсть. Воровство есть тоже труд, и труд опасный, все же заработанное трудом – так сладко!.. И тем слаще, чем большим количеством усилий взято... Мальчики осторожно перелезают через забор сада и, согнувшись, ползут к яблоням, зорко и пугливо оглядываясь. От каждого шороха сердца их дрожат и замедляют биение. Они с одинаковой силой боятся и того, что их поймут, и того, что, заметив, – узнают, кто они; но если их только заметят и закричат на них – они будут довольны. От крика они разлетятся в стороны и исчезнут, а потом, собравшись вместе, с горящими восторгом и удалью глазами, они со смехом будут рассказывать друг другу о том, что чувствовали, услышав крик и погоню за ними, и что случилось с ними, когда они бежали по саду так быстро, точно земля горела под ногами.

В подобные разбойничьи набеги Фома вкладывал сердца больше, чем во все другие похождения и игры, – и вел он себя в набегах с храбростью, которая поражала и сердила его товарищей. В чужих садах он держал себя намеренно неосторожно: говорил во весь голос, с треском ломал сучья яблонь, сорвав червивое яблоко, швырял его куда-нибудь по направлению к дому садовладельца. Опасность быть застигнутым на месте преступления не пугала, а лишь возбуждала его – глаза у него темнели, он стискивал зубы, лицо его становилось гордым и злым. Смолин говорил ему, скашивая свой большой рот:

– Очень уж ты форсишь...

– Я не трус! – отвечал Фома.

– Знаю я, что не трус, а только форсят одни дураки... Можно и без форсу не хуже дело делать...

Ежов осуждал его с иной точки зрения:

– Если ты будешь сам в руки соваться – поди к черту! Я тебе не товарищ... Тебя поймут да к отцу отведут – он тебе ничего не сделает, а меня, брат, так ремнем отхлещут – все мои косточки облупятся...

– Трус! – упрямо твердил Фома.

И вот однажды Фома был пойман руками штабс-капитана Чумакова, маленького и худенького старика. Неслышно подкравшись к мальчику, укладывавшему сорванные яблоки за пазуху рубахи, старик вцепился ему в плечи и грозно закричал:

– Попался, разбойник! Ага-а!

Фоме в то время было около пятнадцати лет, он ловко вывернулся из рук старика. Но не побежал от него, а, нахмутив брови и сжав кулаки, с угрозой произнес:

– Попробуй... тронь!..

– Я тебя не трону – я тебя в полицию сведу! Ты чей?

Этого Фома не ожидал, и у него сразу пропала вся храбрость и злоба. Путешествие в полицию показалось чем-то таким, чего отец никогда не простит ему. Он вздрогнул и смущенно объявил:

– Гордеев...

– И... Игната Матвейча?..

– Да...

Теперь смутился штабс-капитан. Он выпрямился, выпятил грудь вперед и зачем-то внушительно крикнул. Потом плечи его опустились, и отечески вразумительно он сказал мальчику:

– Стыдно-с! Наследник такого именитого и уважаемого лица... Недостойно-с вашего положения... Можете идти... Но если еще раз повторится происшедшее... принужден буду сообщить вашему батюшке... которому, между прочим, имею честь свидетельствовать мое почтение!..

Фома, наблюдая за игрой физиономии старика, понял, что он боится отца. Исподлобья, как волчонок, он смотрел на Чумакова; а тот со смешной важностью крутил седые усы и переминался с ноги на ногу перед мальчиком, который не уходил, несмотря на данное ему разрешение.

– Можете идти, – повторил старик и указал рукой дорогу к своему дому.

– А в полицию? – угрюмо спросил Фома и тотчас же испугался возможного ответа.

– Это я – пошутил! – улыбнулся старик. – Напугать вас хотел...

– Вы сами боитесь моего отца... – сказал Фома и, повернувшись спиной к старику, пошел в глубь сада.

– Боюсь? А-а! Хорошо-с! – крикнул Чумаков вслед ему, и по звуку голоса Фома понял, что обидел старика.

Ему стало стыдно и грустно; до вечера он прогулял один, а придя домой, был встречен суровым вопросом отца:

– Фомка! Ты к Чумакову в сад лазил?

– Лазил, – спокойно сказал мальчик, глядя в глаза отцу.

Игнат, должно быть, не ждал такого ответа и несколько секунд молчал, поглаживая бороду.

– Дурак! Зачем ты это? Мало, что ли, тебе своих яблоков?

Фома опустил глаза и молчал, стоя против отца.

– Вишь – стыдно стало! Поди-ка, Ежишка этот подбил? Я вот его проберу, когда придет... а то и совсем прекращу дружбу-то вашу...

– Это я сам, – твердо сказал Фома.

– Час от часу не легче! – воскликнул Игнат. – Да зачем тебе?

– Так...

– Квак! – передразнил отец. – А ты уж коли что делаешь, так умей объяснить это и себе и людям... Подь сюда!

Фома подошел к отцу, сидевшему на стуле, и стал между колен у него, а Игнат положил ему руки на плечи и, усмехаясь, заглянул в его глаза.

– Стыдно?..

– Стыдно!.. – вздохнув, сказал Фома.

– Вот то-то, дурень! Позоришь и себя и меня...

Прижав к груди своей голову сына, он погладил его волосы и снова спросил:

– На что это нужно – яблоки чужие воровать?
– Да – я не знаю! – сказал Фома смущенно. – Играешь, играешь... все одно и то же... надоест! А это...

– За сердце берет? – спросил отец, усмехаясь.

– Берет...

– Мм... пожалуй, так!.. Но, однако, ты, Фома, – брось это! Не то я с тобой круто обойдусь...

– Никогда я больше никуда не полезу, – уверенно сказал мальчик.

– А что ты сам за себя отвечаешь – это хорошо. Там господь знает, что выйдет из тебя, а пока... ничего! Дело не малое, ежели человек за свои поступки сам платить хочет, своей шкурой... Другой бы, на твоём месте, сослался на товарищей, а ты говоришь – я сам... Так и надо, Фома!.. Ты в грехе, ты и в ответе... Что, – Чумаков-то... не того... не ударил тебя? – с расстановкой спросил Игнат сына.

– Я бы ему ударил! – спокойно объявил Фома.

– Мм... – промычал его отец.

– Я сказал ему, что он тебя боится... вот он почему пожаловался... А то он не хотел идти-то к тебе...

– Ну?

– Ей-богу! Почтение, говорит, отцу передайте...

– Это он?

– Да...

– Ах... пес! Вот, гляди, каковы есть люди: его грабят, а он кланяется – мое вам почтение! Положим, взяли-то у него, может, на копейку, да ведь эта копейка ему – как мне рубль... И не в копейке дело, а в том, что моя она и никто не смеет ее тронуть, ежели я сам не брошу... Эх! Ну их! Ну-ка говори – где был, что видел?

Мальчик сел рядом с отцом и подробно рассказал ему впечатления дня. Игнат слушал, внимательно разглядывая оживленное лицо сына, и брови большого человека задумчиво сдвигались.

– А в овраге спугнули мы сову, – рассказывал мальчик. – Вот потеха-то была! Полетела это она, да с разлету о дерево – трах! даже запищала, жалобно таково... А мы ее опять спугнули, она опять поднялась и все так же – полетит, полетит, да на что-нибудь и наткнется, – так от нее перья и сыплются!.. Уж она трепалась, трепалась по оврагу-то... насилу где-то спряталась... мы и искать не стали, жаль стало, избилась вся... Она, тятя, совсем слепая днем-то?

– Слепая, – сказал Игнат. – Иной человек вот так же, как сова днем, мечется в жизни... Ищет, ищет своего места, бьется, бьется, – только перья летят от него, а все толку нет... Изобьется, изболеет, облияет весь, да с размаха и ткнется куда попало, лишь бы отдохнуть от маеты своей... Эх, беда таким людям – беда, брат!

– А отчего они так?

– Отчего?.. Трудно это сказать... Иной – оттого, что отемнен своей гордыней, – хочет многого, а силенку имеет слабую... иной – от глупости своей... да мало ли отчего?..

Так, день за днем, медленно развертывалась жизнь Фомы, в общем – небогатая волнениями, мирная, тихая жизнь. Сильные впечатления, возбуждая на час душу мальчика, иногда очень резко выступали на общем фоне этой однообразной жизни, но скоро изглаживались. Еще тихим озером была душа мальчика, – озером, скрытым от бурных веяний жизни, и все, что касалось поверхности озера, или падало на дно, ненадолго взволновав сонную воду, или, скользнув по глади ее, расплывалось широкими кругами, исчезало.

Просидев в уездном училище пять лет, Фома, с грехом пополам, окончил четыре класса и вышел из него бравым, черноволосым парнем, со смуглым лицом, густыми бровями и темным пухом над верхней губой. Большие, темные глаза его смотрели задумчиво и наивно, и губы

были по-детски полуоткрыты; но, когда он встречал противоречие своему желанию или что-нибудь другое раздражало его, – зрачки расширялись, губы складывались плотно, и все лицо принимало выражение упрямое, решительное... Крестный, скептически усмехаясь, говорил про него:

– Для баб ты, Фома, слаще меда будешь... но пока большого разума в тебе не видать...

Игнат вздыхал при этих словах.

– Ты бы, кум, скорее пускал в оборот сына-то...

– А вот погоди...

– Чего годить? Лета два-три повертится на Волге, да и под венец его... Вон Любовь-то какая у меня...

Любовь Маякина в эту пору училась в пятом классе какого-то пансиона, Фома часто встречал ее на улице, причем она всегда снисходительно кивала ему русой головкой в щегольской шапочке. Она нравилась Фоме, но ее розовые щеки, веселые карие глаза и пунцовые губы не могли сгладить у Фомы обидного впечатления от ее снисходительных кивков ему. Она была знакома с какими-то гимназистами, и хотя между ними был Ежов, старый товарищ, но Фому не влекло к ним, в их компании он чувствовал себя стесненным. Ему казалось, что все они хвастаются перед ним своей ученостью и смеются над его невежеством. Собираясь у Любви, они читали какие-то книжки, и, если он заставал их за чтением или крикливым спором, – они умолкали при виде его. Все это отталкивало его. Однажды, когда он сидел у Маякиных, Люба позвала его гулять в сад и там, идя рядом с ним, спросила его с гримаской на лице:

– Почему ты такой бука, – никогда ни о чем не говоришь?

– О чем мне говорить, ежели я ничего не знаю! – просто сказал Фома.

– Учись, – читай книги!..

– Не хочется...

– А вот гимназисты – всё знают и обо всем умеют говорить... Ежов, например...

– Знаю я Ежова, – болтушка!

– Просто ты завидуешь ему... Он очень умный... да. Вот он кончит гимназию – поедет в Москву учиться в университет.

– Ну, так что?

– А ты так и останешься неучем...

– Ну, и пускай...

– Как это хорошо! – иронически воскликнула Люба.

– Я и без науки на своем месте буду, – насмешливо сказал Фома. – И всякому ученому нос утру... пусть голодные учатся, – мне не надо...

– Фи, какой ты глупый, злой, – гадкий! – презрительно сказала девушка и ушла, оставив его одного в саду. Он угрюмо и обиженно посмотрел вслед ей, повел бровями и, опустив голову, медленно направился в глубь сада.

Он начинал познавать прелесть одиночества и сладкую отраву мечтаний. Часто, летними вечерами, когда все на земле окрашивается в огненные, возбуждающие воображение краски заката, – в грудь его проникало смутное томление о чем-то непонятном ему. Сидя где-нибудь в темном уголке сада или лежа в постели, он уже вызывал пред собой образы сказочных царевен, – они являлись в образе Любы и других знакомых барышень, бесшумно плавали перед ним в вечернем сумраке и смотрели в глаза его загадочными взорами. Порой эти видения возбуждали в нем прилив мощной энергии и как бы опьяняли его – он вставал и, расправляя плечи, полной грудью,пил душистый воздух; но иногда те же видения навевали на него грустное чувство – ему хотелось плакать, было стыдно слез, он сдерживался и все-таки тихо плакал.

Отец терпеливо и осторожно вводил его в круг торговых дел, брал с собой на биржу, рассказывал о взятых поставках и подрядах, о своих сотоварищах, описывал ему, как они «вышли

в люди», какие имеют состояния теперь, каковы их характеры. Фома быстро усвоил дело, относясь ко всему серьезно и вдумчиво.

– Расцветает наш репей алым маком!.. – усмехался Маякин, подмигивая Игнату.

И все-таки, даже когда Фоме минуло девятнадцать лет, – было в нем что-то детское, наивное, отличавшее его от сверстников. Они смеялись над ним, считая его глупым; он держался в стороне от них, обиженный отношением к нему. А отцу и Маякину, которые не спускали его с глаз, эта неопределенность характера Фомы внушала серьезные опасения.

– Не пойму я его! – сокрушенно говорил Игнат. – Не кутит он, по бабам будто не шляется, ко мне, к тебе – почтителен, всему внимает – красная девка, не парень! И ведь, кажись, не глуп?

– Особой глупости не видать, – говорил Маякин.

– Поди ж ты! Как будто он ждет чего-то, – как пелена какая-то на глазах у него... Мать его, покойница, вот так же ошупью ходила по земле. Ведь вон Африканка Смолин на два года старше – а поди-ка ты какой! Даже понять трудно, кто кому теперь у них голова – он отцу или отец ему? Учиться хочет ехать, на фабрику какую-то, – ругается: «Эх, говорит, плохо вы меня, папаша, учили...» Н-да! А мой – ничего из себя не объявляет... О, господи!

– Ты вот что, – советовал Маякин, – ты сунь его с головой в какое-нибудь горячее дело! Право! Золото огнем пробуют... Увидим, какие в нем склонности, ежели пустим его на свободу... Ты отправь его, на Каму-то, одного!

– Разве что попробовать?

– Ну, напортит... потеряешь сколько-нибудь... зато будем знать, что он в себе носит?

– И впрямь – отправлю я его, – решил Игнат.

И вот весной Игнат отправил сына с двумя баржами хлеба на Каму. Баржи вел пароход «Прилежный», которым командовал старый знакомый Фомы, бывший матрос Ефим, – теперь Ефим Ильич, тридцатилетний квадратный человек с рысьими глазами, рассудительный, степенный и очень строгий капитан.

Плыли быстро и весело, потому что все были довольны. Фома гордился впервые возложенным на него ответственным поручением. Ефим был рад присутствию молодого хозяина, который не делал ему за всякую оплошность замечаний, уснащенных крепкой руганью; а хорошее настроение двух главных лиц на судне прямыми лучами падало на всю команду. Отплыв от места, где грузились хлебом, в апреле – в первых числах мая пароход уже прибыл к месту назначения и, поставив баржи у берега на якоря, стал рядом с ними. На Фоме лежала обязанность как можно скорее сдать хлеб и, получив платежи, отправиться в Пермь, где ждал его груз железа, принятый Игнатом к доставке на ярмарку.

Баржи стали против большого села, прислонившегося к сосновому бору. Уже на другой день по прибытии, рано утром, на берегу явилась шумная толпа баб и мужиков, пеших и конных; с криком, с песнями они рассыпались по палубам, и – вмиг закипела работа. Спустившись в трюмы, бабы насыпали рожь в мешки, мужики, вскидывая мешки на плечи, бегом бегали по сходням на берег, а от берега к селу медленно потянулись подводы, тяжело нагруженные долгожданным хлебом. Бабы пели песни, мужики шутили и весело поругивались, матросы, изображая собою блюстителей порядка, покрикивали на работавших, доски сходен, прогибаясь под ногами, тяжело хлюпали по воде, а на берегу ржали лошади, скрипели телеги и песок под их колесами...

Только что вошло солнце, воздух был живительно свеж, густо напоен запахом сосны; спокойная вода реки, отражая ясное небо, ласково журчала, разбиваясь о пыжи судов и цепи якорей. Веселый, громкий шум труда, юная красота весенней природы, радостно освещенной лучами солнца, – все было полно бодрой силы, добродушной и приятно волновавшей душу Фомы, возбуждая в нем новые, смутные ощущения и желания. Он сидел за столом на тенте парохода, пил чай с Ефимом и приемщиком хлеба, земским служащим, рыжеватым и близору-

ким господином в очках. Нервно подергивая плечами, приемщик надтреснутым голосом рассказывал о том, как голодали крестьяне, но Фома плохо слушал его, глядя то на работу внизу, то на другой берег реки – высокий, желтый, песчаный обрыв, по краю которого стояли сосны. Там было безлюдно и тихо.

«Надо будет съездить туда», – думал Фома. А до слуха его как будто откуда-то издали доносился беспокойный, неприятно резкий голос приемщика:

– Вы не поверите – дошло наконец до ужаса! Был такой случай: в Осе к одному интеллигенту приходит мужик и приводит с собой девицу, лет шестнадцати... «Что тебе?» – «Да вот, говорит, привел дочь вашему благородию...» – «Зачем?» – «Да, может, говорит, возьмете... человек вы холостой...» – «Как так? что такое?» – «Да водил, говорит, водил ее по городу, в прислуги хотел отдать – не берет никто... возьмите хоть в любовницы!» Понимаете? Он предлагает дочь свою, поймите! дочь – в любовницы! Черт знает, что такое?! а? Тот, понятно, возмутился, накинулся на мужика, ругается... Но мужик резонно говорит ему: «Ваше благородие! что она мне по нынешним дням? Лишняя совсем... а у меня, говорит, трое мальчишек – они работники будут, их надо сохранить... дайте, говорит, десять рублей за девку-то, вот я и поправлюсь с мальчишками...» Каково, а? Просто ужас, говорю вам...

– Не хо-ро-шо! – вздохнул Ефим. – Так что голод – сказано – не тетка... У брюха, видите, свои законы...

А у Фомы этот рассказ вызвал какой-то непонятный ему огромный и щекочущий интерес к судьбе девочки, и юноша быстро спросил у приемщика:

– Что же он, барин-то этот, купил ее?

– Разумеется, нет! – укоризненно воскликнул приемщик.

– Ну и куда же ее девали?

– Нашлись добрые люди... пристроили...

– А-а! – протянул Фома и вдруг твердо и зло объявил: – Я бы этого мужика так вздул! Всю бы рожу ему разворотил! – И он показал приемщику большой, крепко сжатый кулак.

– За что? – болезненно громко вскричал приемщик, срывая с носа очки.

– Разве это можно – человека продавать?..

– Дико это, я согласен, но...

– Да еще – девушку! Я б ему дал десять рублей!

Приемщик безнадежно махнул рукой и замолчал.

Его жест смутил Фому, он поднялся из-за стола и, отойдя к перилам, стал смотреть на палубу баржи, покрытую бойко работавшей толпой людей. Шум опьянял его, и то смутное, что бродило в его душе, определилось в могучее желание самому работать, иметь сказочную силу, огромные плечи и сразу положить на них сотню мешков ржи, чтоб все удивились ему...

– Шевелись – живее! – звучно крикнул он вниз. Несколько голов поднялось к нему, мелькнули пред ним какие-то лица, и одно из них – лицо женщины с черными глазами – ласково и заманчиво улыбнулось ему. От этой улыбки у него в груди что-то вспыхнуло и горячей волной полилось по жилам. Он оторвался от перил и снова подошел к столу, чувствуя, что щеки у него горят.

– Слушайте! – обратился к нему приемщик. – Телеграфируйте вы вашему отцу, – пусть он сбросит сколько-нибудь зерна на утечку! Вы посмотрите, сколько сорится, – а ведь тут каждый фунт дорог! Надо же это понимать!.. Ну уж папаша у вас... – кончил он с едкой гримасой.

– Сколько сбросить? – пренебрежительно и с удалью спросил Фома... – Желаете сто пуд? Двести?

– Это, – благодарю вас! – смущенно и радостно вскричал приемщик... – Если вы имеете право...

– Я – хозяин! – твердо сказал Фома. – А про отца вы не можете так говорить – и корчить рожи!..

– Извините! И... я не сомневаюсь в ваших полномочиях... искренно благодарю вас... и вашего папашу от лица всех этих людей...

Ефим опасливо смотрел на молодого хозяина и, оттопырив губы, почмокивал ими, а хозяин с гордым лицом слушал быструю речь приемщика, крепко пожимавшего ему руку.

– Двести! Это – по-русски, молодой человек! Вот я сейчас и объявлю мужичкам о вашем подарке. Вы увидите, как они будут благодарны...

И он громко крикнул вниз:

– Ребята! Вот хозяин жертвует двести пудов...

– Триста! – перебил его Фома.

– Триста пудов... Спасибо! Триста пудов зерна, ребята!

Но эффект получился слабый. Мужики подняли головы кверху и молча снова опустили их, принявшись за работу. Несколько голосов нерешительно и как бы нехотя проговорили:

– Спасибо... Дай тебе господи... Покорнейше благодарим...

А кто-то весело и пренебрежительно крикнул:

– Это что! А вот ежели бы водчонки по стакашку... была бы милость, – правильная! А хлеб не нам – он земству...

– Эх! Они не понимают! – смущенно воскликнул приемщик. – Вот я пойду объясню им...

Он исчез. Но Фому не интересовало отношение мужиков к его подарку: он видел, что черные глаза румяной женщины смотрят на него так странно и приятно. Они благодарили его, лаская, звали к себе, и, кроме них, он ничего не видал. Эта женщина была одета по-городскому – в башмаки, в ситцевую кофту, и ее черные волосы были повязаны каким-то особенным платочком. Высокая и гибкая, она, сидя на куче дров, чинила мешки, проворно двигая руками, голыми до локтей, и все улыбалась Фоме.

– Фома Игнатьич! – слышал он укоризненный голос Ефима. – Больно уж ты форснул широко... ну, хоть бы пудов полсотни! А то – на-ко! Так что – смотри, как бы нам с тобой не попало по горбам за это...

– Отстань! – кратко сказал Фома.

– Мне что? Я молчу... Но как ты еще молод, а мне сказано «седи!» – то за недосмотр мне и попадет в рыло...

– Я скажу отцу... – сказал Фома.

– Мне – бог с тобой... ты тут хозяин...

– Отвяжись, Ефим!..

Ефим вздохнул и замолчал. А Фома смотрел на женщину и думал:

«Вот бы такую продавать привели... ко мне».

Сердце его учащенно билось. Будучи еще чистым физически, он уже знал, из разговоров, тайны интимных отношений мужчины к женщине. Он знал их под грубыми и зазорными словами, эти слова возбуждали в нем неприятное, но жгучее любопытство; его воображение упорно работало, но все-таки он не мог представить себе всего этого в образах, понятных ему. В душе он не верил, что отношения мужчины к женщине так просты и грубы, как о них рассказывают. Когда же, смеясь над ним, его уверяли, что они именно таковы и не могут быть иными, он глуповато и смущенно улыбался, но все-таки думал, что не для всех людей сношения с женщиной обязательны в такой постыдной форме и что, наверное, есть что-нибудь более чистое, менее грубое и обидное для человека.

Теперь, любясь на черноглазую работницу, Фома ясно ощущал именно грубое влечение к ней, – это было стыдно, страшно. А Ефим, стоя рядом, увещеваяще говорил ему:

– Вот ты теперь смотришь на бабу, – так что не могу я молчать... Она тебе неизвестна, но как она – подмигивает, то ты по молодости такого натворишь тут, при твоём характере, что мы отсюда пешком по берегу пойдем... да еще ладно, ежели у нас штаны целы останутся...

– Что тебе надо? – спросил Фома, красный от смущения.

– Мне – ничего не надо... А тебе – надо меня слушать... По бабьим делам я вполне могу быть учителем... С бабой надо очень просто поступать – бутылку водки ей, закусить чего-нибудь, потом пару пива поставь и опосля всего – деньгами дай двугривенный. За эту цену она тебе всю свою любовь окажет как нельзя лучше...

– Врешь ты все! – тихо сказал Фома.

– Я-то вру? Как же я могу врать, ежели я эту штуку, может, до ста раз проделывал? Так что – ты вот поручи мне с ней дело вести... а? Я тебе с ней знакомство скручу...

– Хорошо... – сказал Фома, чувствуя, что ему тяжело дышать и что-то давит ему горло...

– Ну вот... вечером я ее и приведу...

Вплоть до вечера Фома ходил отуманенный, не замечая почтительных и заискивающих взглядов, которыми смотрели на него мужики. Ему было жутко, он чувствовал себя виновным пред кем-то, и всем, кто обращался к нему, отвечал приниженно-ласково, точно извиняясь.

Вечером рабочие, собравшись на берегу у большого, яркого костра, стали варить ужин. Отблеск костра упал на реку красными и желтыми пятнами, они трепетали на спокойной воде и на стеклах окон рубки парохода, где сидел Фома в углу на диване. Он завесил окна и не зажег огня; слабый свет костра, проникая сквозь занавески, лег на стол, стену и дрожал, становясь то ярче, то ослабевая. Было тихо, только с берега доносились неясные звуки говора, да река чуть слышно плескалась о борта парохода. Фоме казалось, что в темноте, около него, кто-то притаился и подсматривает за ним... Вот – идут по сходням торопливо, тяжелыми шагами, – доски сходен звучно и сердито хлюпают о воду... Фома слышит смех и пониженный голос у двери рубки...

«Не надо!» – хотел крикнуть Фома.

Он уже встал – но дверь в рубку отворилась, фигура высокой женщины встала на пороге и, бесшумно притворив за собою дверь, негромко проговорила:

– Батюшки, темно как! Есть тут живой-то кто-нибудь?..

– Есть... – тихо ответил Фома.

– Ну так – здравствуйте!..

И женщина осторожно подвинулась вперед.

– Вот я... зажгу огонь!.. – прерывающимся голосом пообещал Фома и, опустившись на диван, снова прижался в угол.

– Да ничего и так... присмотришься, так и в темноте видно...

– Садитесь, – сказал Фома.

– Сядем...

Она села на диван в двух шагах от него. Фома видел блеск ее глаз, улыбку ее губ. Ему показалось, что она улыбается не так, как давеча улыбалась, а иначе – жалобно, невесело. Эта улыбка ободрила его, ему стало легче дышать при виде этих глаз, которые, встретившись с его глазами, вдруг потупились. Но он не знал, о чем говорить с этой женщиной, и они оба молчали, молчанием тяжелым и неловким... Заговорила она:

– Скучно, поди-ка, одному-то вам?

– Да-а, – ответил Фома...

– А нравятся ли наши-то места? – вполголоса спрашивала женщина.

– Хорошо! Лесу много...

Снова замолчали...

– Река-то, пожалуй, красивее Волги, – с усилием выговорил Фома.

– Была я на Волге. В Симбирском...

– Симбирск... – как эхо повторил Фома, чувствуя, что он снова не в состоянии сказать ни слова. Но она, должно быть, поняв, с кем имеет дело, – вдруг бойким шепотом спросила его:

– Что же ты, хозяин, не угощаешь меня?

– Вот! – встрепенулся Фома. – В самом деле... экий я! Нуте-ка, пожалуйста!

Он возился в сумраке, толкал стол, брал в руки то одну, то другую бутылку и снова ставил их на место, смеясь виновато и смущенно. А она вплоть подошла к нему и стояла рядом с ним, с улыбкой глядя в лицо ему и на его дрожащие руки.

– Стыдишься? – вдруг прошептала она.

Он ощутил ее дыхание на щеке своей и так же тихо ответил:

– Да-а...

Тогда она положила руки на плечи ему и тихонько толкнула его себе на грудь, успокоительным шепотом говоря:

– Ничего, не стыдись... ведь – нельзя без этого... красавчик ты мой... молоденький... жалко-то как тебя!..

А ему плакать захотелось под ее шепот, сердце его замирало в сладкой истоме; крепко прижавшись головой к ее груди, он стиснул ее руками, говоря какие-то невнятные, себе самому неведомые слова...

– Уходи, – глухо сказал Фома, глядя в стену широко раскрытыми глазами.

Поцеловав его в щеку, она покорно встала и вышла из рубки, сказав ему:

– Ну, прощай...

Фоме было нестерпимо стыдно при ней, но, лишь она скрылась за дверью, он вскочил и сел на диван. Потом встал, шатаясь на ногах, и сразу весь наполнился ощущением утраты чего-то очень ценного, но такого, присутствие чего он как бы не замечал в себе до момента утраты... И тотчас же в нем явилось новое, мужественное чувство гордости собою. Оно поглотило стыд, и на месте стыда выросла жалость к женщине, одиноко ушедшей куда-то во тьму холодной майской ночи. Он быстро вышел из рубки на палубу – ночь была звездная, но безлунная; его охватила прохлада и тьма... На берегу еще сверкала золотисто-красная куча углей. Фома прислушался – подавляющая тишина разлита была в воздухе, лишь вода журчала, разбиваясь о цепи якорей, и нигде не слышно было звука шагов. Ему захотелось позвать женщину, но он не знал ее имени. Жадно вдыхая широкой грудью свежий воздух, он несколько минут стоял на палубе, и вдруг из-за рубки, с носа парохода, до него донесся чей-то вздох, похожий на рыдание. Он вздрогнул и осторожно пошел туда, понимая, что там – она.

Она сидела у борта на палубе и, прислонясь головой к куче каната, плакала. Фома видел, как дрожали белые комья ее обнаженных плеч, слышал тяжелые вздохи, ему стало тяжело.

Наклонясь к ней, он робко спросил ее:

– Что ты?

Она качнула головой и не ответила ему.

– Али я тебя обидел?

– Уйди! – сказала она.

– Да как же? – смущенно и тревожно говорил Фома, касаясь рукой ее головы. – Ты не сердись... ведь сама же...

– Я не сержусь! – громким шепотом ответила она. – За что сердиться на тебя? Ты не охальник... чистая ты душа! Эх, соколик мой пролетный! Сядь-ка ты рядом-то со мной...

И, взяв Фому за руку, она усадила его, как ребенка, на колени к себе, прижала крепко голову его к груди своей и, наклонясь, надолго прильнула горячими губами к губам его.

– О чем ты плачешь? – спрашивал Фома, глядя одной рукой ее щеку, а другой обнимая шею женщины.

– О себе плачу... Пошто ты отослал меня? – жалобно спросила она.

– Стыдно мне стало, – сказал Фома, опуская голову.

– Голубчик ты мой! Говори уж всю правду – не понравилась я тебе? – спросила она, усмехаясь, но на грудь Фомы всё падали ее большие, теплые слезы.

– Что ты это?! – даже с испугом воскликнул парень и стал горячо и торопливо говорить ей какие-то слова о красоте ее, о том, какая она ласковая, как ему жалко ее и как стыдно пред ней. А она слушала и все целовала его щеки, шею, голову и обнаженную грудь.

Он умолк, – тогда заговорила она, печально и тихо, точно по покойнике:

– А я другое подумала... Как сказал ты «уходи!» – встала я и пошла... И горько, горько мне сделалось от того твоего слова... Бывало, думаю, миловали меня, лелеяли без устали, без отдыху; за усмешку одну, бывало, за ласковую, все, чего пожелаю, делали... Вспомнила я это и заплакала! Жалко стало мне мою молодость... ведь уже тридцать лет мне... последние деньки для женщины! Э-эх, Фома Игнатьевич! – воскликнула она, повышая голос и учащая ритм своей певучей речи, звукам которой красиво вторило журчание воды. – Слушай меня – береги свою молодость! Нет ничего на свете лучше ее. Ничего-то нет дороже ее! Молодостью, ровно золотом, все, что захочешь, то и сделаешь... Живи так, чтобы на старости было чем молодые годы вспомнить... вот я вспомнила себя и хоть поплакала, а разгорелось сердце-то от одной от памяти, как прежде жила... И опять помолодела я, как живой воды попила! Дитячко ты мое сладкое! Погуляю ж я с тобой, коли по нраву пришлось, погуляю во всю силушку... эх! до золы сгорю, коли вспыхнула!

И, крепко прижав к себе парня, она с жадностью стала целовать его в губы.

– По-огляды-ва-а-ай! – тоскливо завыл вахтенный на барже и, коротко оборвав «ай», – начал бить колотушкой в чугунную доску... Дребезжащие, резкие звуки рвали торжественную тишину ночи.

Через несколько дней, когда баржи разгрузились и пароход готов был идти в Пермь, – Ефим, к великому своему огорчению, увидел, что к берегу подъехала телега и на ней черноглазая Пелагея с сундуком и какими-то узлами.

– Пошли матроса вещи взять!.. – приказал ему Фома, кивая головой на берег.

Укоризненно покачав головой, Ефим сердито исполнил приказание и потом, пониженным голосом, спросил:

– Так что – и она с нами?

– Она – со мной...

– Ну, да... не со всеми же... О, господи!

– Чего вздыхаешь?

– Да, – Фома Игнатьич! Ведь в большой город плывем... али мало там ихней сестры?

– Ну, ты молчи! – сурово сказал Фома.

– Да я смолчу... только непорядок это!

Фома внушительно нахмурился и сказал капитану, властно отчеканивая слова:

– Ты, Ефим, и себе заруби на носу, и всем тут скажи – ежели да я услышу про нее какое-нибудь похабное слово – поленом по башке!

– Страхи какие! – не поверил Ефим, с любопытством поглядывая в лицо хозяина. Но он тотчас же отступил на шаг пред Фомой.

Игнатов сын, как волк, оскалил зубы, зрачки у него расширились, и он заорал:

– Посмейся! Я те посмеюсь!

Ефим хотя и струсил, но с достоинством заговорил:

– Хоша вы, Фома Игнатьич, и хозяин... но как мне сказано «сходи, Ефим...» и я здесь – капитан...

– Капитан?! – крикнул Фома, весь вздрагивая и бледнея. – А я кто?

– Так что – вы не кричите! Из-за пустяка, какова есть баба...

На бледном лице Фомы выступили красные пятна, он переступил с ноги на ногу, судорожным движением спрятал руки в карманы пиджака и ровным, твердым голосом сказал:

– Ты! Капитан! Вот что – слово еще против меня скажешь – убирайся к черту! Вон! На берег! Я и с лоцманом дойду. Понял? Надо мной тебе не командовать!.. Ну?

Ефим был поражен. Он смотрел на хозяина и смешно моргал глазами, не находя ответа.

– Понял, говорю?

– По-онял, – протянул Ефим. – Из-за чего шум, однако? Из-за...

– Молчать!

Дико сверкнувшие глаза Фомы, его искаженное лицо внушили капитану благую мысль уйти от хозяина, и он быстро ушел.

Он был зол на Фому и считал себя напрасно обиженным; но в то же время почувствовал над собой твердую, настоящую хозяйскую руку. Ему, годами привыкшему к подчинению, нравилась проявленная над ним власть, и, войдя в каюту старика-лоцмана, он уже с оттенком удовольствия в голосе рассказал ему сцену с хозяином.

– Видал? – заключил он свой рассказ. – Так что – хорошей породы щенок, с первой же охоты – добрый пес... А ведь с виду он – так себе... человечешко мутного ума... Ну, ничего, пускай балуется, – дурного тут, видать, не будет... при таком его характере... Нет, как он заорал на меня! Труба, я тебе скажу!.. Сразу определился, будто власти и строгости ковшом хлебнул...

Ефим говорил верно: за эти дни Фома резко изменился. Вспыхнувшая в нем страсть сделала его владыкой души и тела женщины, он жадно пил огненную сладость этой власти, и она выжгла из него все неуклюжее, что придавало ему вид парня угрюмого, глуповатого, и напоила его сердце молодой гордостью, сознанием своей человеческой личности. Любовь к женщине всегда плодотворна для мужчины, какова бы она ни была, даже если она дает только страдания, – и в них всегда есть много ценного. Являясь для больного душою сильным ядом, для здорового любовь – как огонь железу, которое хочет быть сталью...

Увлечение Фомы тридцатилетней женщиной, справлявшей в объятиях юноши тризну по своей молодости, не отрывало его от дела; он не терялся ни в ласках, ни в работе, и там и тут внося всего себя. Женщина, как хорошее вино, возбуждала в нем с одинаковой силой жажду труда и любви, и сама она помолодела, приобщаясь поцелуев юности.

В Перми Фому ждало письмо от крестного, который сообщал, что Игнат запил с тоски о сыне и что в его годы вредно так пить. Письмо заканчивалось советом спешить с делами и возвращаться домой. Фома почувствовал тревогу в этом совете, она огорчила праздник его сердца, но в заботах о деле и в ласках Пелагеи эта тень скоро растаяла. Жизнь его текла с быстротой речной волны, каждый день приносил новые ощущения, порождая новые мысли. Пелагея относилась к нему со всей страстью любовницы, с той силой чувства, которую влагают в свои увлечения женщины ее лет, допивая последние капли из чаши жизни. Но порой в ней пробуждалось иное чувство, не менее сильное и еще более привязывающее к ней Фому, – чувство, сходное со стремлением матери оберечь своего любимого сына от ошибок, научить его мудрости жить. Часто, по ночам, сидя на палубе, обнявшись с ним, она ласково и с печалью говорила ему:

– Ты послушай меня, как сестру твою старшую... Я жила, людей знаю... много видела на своем веку!.. Товарищей выбирай себе с оглядкой, потому что есть люди, которые заразны, как болезнь... Ты и не разберешь сначала, кто он такой? Кажись, человек, как все... Хвать – и пристали к тебе болячки его. С нашей сестрой – сохрани тебя пресвятая богородица! – осторожен будь... Мягок ты еще, нет настоящего закала на сердце-то у тебя... А до таких, как ты, бабы лакомы – силен, красив, богат... Всего больше берегись тихоньких – они, как пьявки, впиваются в мужчину, – вопьется и сосет, и сосет, а сама все такая ласковая да нежная. Будет она из тебя сок пить, а себя сбережет, – только даром сердце тебе надсадит... Ты к тем больше, которые, как я вот, – бойкие! Такие – без корысти живут...

Она действительно была бескорытна. В Перми Фома накопил ей разных обновок и безделушек. Она обрадовалась им, но, рассмотрев, озабоченно сказала:

– Ты не больно транжирь деньги-то... смотри, как бы отец-то не рассердился!.. Я и так... и безо всего люблю тебя...

Уже ранее она объявила ему, что поедет с ним только до Казани, где у нее жила сестра замужем. Фоме не верилось, что она уйдет от него, и когда – за ночь до прибытия в Казань – она повторила свои слова, он потемнел и стал упрашивать ее не бросать его.

– А ты прежде время не горюй, – сказала она. – Еще ночь целая впереди у нас... Простимся мы с тобой, тогда и пожалеешь, – коли жалко станет!..

Но он все с большим жаром уговаривал ее не покидать его и наконец заявил, что хочет жениться на ней.

– Вот, вот... так! – И она засмеялась. – Это от живого-то мужа за тебя пойду? Милый ты мой, чудачок! Жениться захотел, а? Да разве на таких-то женятся? Много, много будет у тебя полюбовниц-то... Ты тогда женись, когда перекипишь, когда всех сластей наешься досыта – аржаного хлебца захочется... вот когда женись! Замечала я – мужчине здоровому, для покоя своего, нужно не рано жениться... одной жены ему мало будет, и пойдет он тогда по другим... Ты должен для своего счастья тогда жену брать, когда увидишь, что и одной ее хватит с тебя...

Но чем больше она говорила, – тем настойчивее и тверже становился Фома в своем желании не расставаться с ней.

– А ты послушай-ка, что я тебе скажу, – спокойно сказала женщина. – Горит в руке твоей лучина, а тебе и без нее уже светло, – так ты ее сразу окуни в воду, тогда и чаду от нее не будет, и руки она тебе не обожжет...

– Не понимаю я твоих слов...

– А ты понимай... Ты мне худого не сделал, и я тебе его не хочу... Вот и уйду...

Трудно сказать, чем бы кончилась эта распря, если бы в нее не вмешался случай. В Казани Фома получил телеграмму от Маякина, он кратко приказывал крестнику: «Немедленно выезжай пассажирским». У Фомы больно сжалось сердце, и через несколько часов, стиснув зубы, бледный и угрюмый, он стоял на галерее парохода, отходившего от пристани, и, вцепившись руками в перила, неподвижно, не мигая глазами, смотрел в лицо своей милой, уплывавшее от него вдаль вместе с пристанью и с берегом. Пелагея махала ему платком и все улыбалась, но он знал, что она плачет. От слез ее вся грудь рубашки Фомы была мокрая, от них в сердце его, полном угрюмой тревоги, было тяжело и холодно. Фигура женщины все уменьшалась, точно таяла, а Фома, не отрывая глаз, смотрел на нее и чувствовал, что помимо страха за отца и тоски о женщине – в душе его зарождается какое-то новое, сильное и едкое ощущение. Он не мог назвать его себе, но оно казалось ему близким к обиде на кого-то.

Толпа людей на пристани слилась в сплошное, темное и мертвое пятно без лиц, без форм, без движения. Фома отошел от перил и угрюмо стал ходить по палубе.

Пассажиры, громко разговаривая, усаживались пить чай, лакеи сновали по галерее, накрывая столики, где-то на корме внизу, в третьем классе, смеялся ребенок, ныла гармоника, повар дробно стучал ножами, дребезжала посуда. Разрезая волны, вспенивая их и содрогаясь от напряжения, огромный пароход быстро плыл против течения... Фома посмотрел на широкие полосы взбешенных волн за кормой парохода и ощутил в себе дикое желание ломать, рвать что-нибудь, – тоже пойти грудью против течения и раздробить его напором о грудь и плечи свои...

– Судьба! – хриплым и утомленным голосом сказал кто-то около него.

Это слово было знакомо ему: им тетка Анфиса часто отвечала Фоме на его вопросы, и он вложил в это краткое слово представление о силе, подобной силе бога. Он взглянул на говоривших: один из них был седенький старичок, с добрым лицом, другой – помоложе, с большими усталыми глазами и с черной клинообразной бородкой. Его хрящеватый большой нос и желтые, ввалившиеся щеки напоминали Фоме крестного.

– Судьба! – уверенно повторил старик возглас своего собеседника и усмехнулся. – Она над жизнью – как рыбак над рекой: кинет в суету нашу крючок с приманкой, а человек сейчас –

хватать за приманку жадным-то ртом... тут она ка-ак рванет свое удилище – ну, и бьется человек оземь, и сердце у него, глядишь, надорвано... Так-то, сударь мой!

Фома закрыл глаза, точно ему в них луч солнца ударил, и, качая головой, громко сказал:
– Верно! Вот – верно-о!

Собеседники пристально посмотрели на него: старик – с тонкой и умной улыбкой, большеглазый – недружелюбно, исподлобья. Это смутило Фому, и он, покраснев, отошел от них, думая о судьбе и недоумевая: зачем ей нужно было приласкать его, подарив ему женщину, и тотчас вырвать из рук у него подарок так просто и обидно? И он понял, что неясное, едкое чувство, которое он носил в себе, – обида на судьбу за ее игру с ним. Он был слишком избалован жизнью для того, чтобы проще отнестись к первой капле яда в только что початом кубке, и все сутки дороги провел без сна, думая о словах старика и лелея свою обиду. Но она возбуждала в нем не уныние и скорбь, а гневное и мстительное чувство...

Фому встретил крестный и на его торопливые, тревожные вопросы, возбужденно поблескивая зеленоватыми глазками, объявил, когда уселся в пролетку рядом с крестником:

– Из ума выжил отец-то твой...

– Пьет?

– Хуже! Совсем с ума сошел...

– Ну? О, господи! говорите...

– Понимаешь: объявилась около него барынька одна...

– Что же она? – воскликнул Фома, вспомнив свою Пелагею, и почему-то почувствовал в сердце радость.

– Пристала она к нему и – сосет...

– Тихонькая?

– Она? Тиха... как пожар... Семьдесят пять тысяч выдула из кармана у него – как пушинку!

– О-о! Кто же это такая?

– Сонька Медынская, архитекторова жена...

– Ба-атюшки! Неужто она... Разве отец, – неужто он ее в полюбовницы взял? – тихо и изумленно спросил Фома.

Крестный отшатнулся от него и, смешно вытаращив глаза, испуганно заговорил:

– Да ты, брат, тоже спятил! Ей-богу, спятил! Опомнись! В шестьдесят три года любовниц заводить... да еще в такую цену! Что ты? Ну, я это Игнату расскажу!

И Маякин рассыпал в воздухе дребезжащий, торопливый смех, причем его козлиная бородка неприглядно задрожала. Не скоро Фома добился от него толка; против обыкновения старик был беспокоен, возбужден, его речь, всегда плавная, рвалась, он рассказывал, ругаясь и отплеываясь, и Фома едва разобрал, в чем дело. Оказалось, что Софья Павловна Медынская, жена богача-архитектора, известная всему городу своей неутомимостью по части устройства разных благотворительных затей, – уговорила Игната пожертвовать семьдесят пять тысяч на ночлежный дом и народную библиотеку с читальней. Игнат дал деньги, и уже газеты расхвалили его за щедрость. Фома не раз видел эту женщину на улицах; она была маленькая, он знал, что ее считают одной из красивейших в городе. О ней говорили дурно.

– Только-то?! – воскликнул он, выслушав рассказ крестного. – А я думал – бог вещь что...

– Ты? Ты думал? – вдруг рассердился Маякин. – Ничего ты не думал – молокосос ты!

– Да что вы ругаетесь? – удивился Фома.

– Ты скажи – по-твоему, семьдесят пять тысяч – большие деньги?

– Большие, – сказал Фома, подумав. – Да ведь у отца много их... чего же вы так уж...

Якова Тарасовича повело всего, он с презрением посмотрел в лицо юноши и каким-то слабым голосом спросил его:

– Это ты говоришь?

– А кто же?

– Врешь! Это молодая твоя глупость говорит, да! А моя старая глупость – миллион раз жизнью испытана, – она тебе говорит: ты еще щенок, рано тебе басом лаять!

Фому и раньше частенько задевал слишком образный язык крестного, – Маякин всегда говорил с ним грубее отца, – но теперь юноша почувствовал себя крепко обиженным и сдержанно, но твердо сказал:

– Вы бы не ругались зря-то, я ведь не маленький...

– Да что ты говоришь? – насмешливо подняв брови, воскликнул Маякин.

Фому взорвало. Он взглянул в лицо старику и веско отчеканил:

– А вот говорю, что зряшной ругани вашей не хочу больше слышать, – довольно!

– Мм... да... та-ак! Извините...

Яков Тарасович прищурил глаза, пожевал губами и, отвернувшись от крестника, с минуту помолчал. Пролетка въехала в узкую улицу, и, увидав издали крышу своего дома, Фома невольно всем телом двинулся вперед. В то же время крестный, плутовато и ласково улыбаясь, спросил его:

– Фомка! Скажи – на ком ты зубы себе отточил? а?

– Разве острые стали? – спросил Фома, обрадованный таким обращением крестного.

– Ничего... Это хорошо, брат... это оч-чень хорошо! Боялись мы с отцом – мямля ты будешь!.. Ну, а водку пить выучился?

– Пил...

– Скоренько!.. Помногу, что ли?

– Зачем помногу-то...

– А вкусна?

– Не очень...

– Тэк... Ничего, все это не худо... Только вот больно ты открыт, – во всех грехах и всякому попу готов каяться... Ты сообрази насчет этого – не всегда, брат, это нужно... иной раз смолчишь – и людям угодишь, и греха не сотворишь. Н-да. Язык у человека редко трезв бывает. А вот и приехали... Смотри – отец-то не знает, что ты прибыл... дома ли еще?

Он был дома: в открытые окна из комнат на улицу несся его громкий, немного силпый хохот. Шум пролетки, подъехавшей к дому, заставил Игната выглянуть в окно, и при виде сына он радостно крикнул:

– А-а! Явился...

Через минуту он, прижав Фому одной рукой ко груди, ладонью другой уперся ему в лоб, отгибая голову сына назад, смотрел в лицо ему сияющими глазами и довольно говорил:

– Загорел... поздоровел... молодец! Барыня! Хорош у меня сын?

– Недурен, – раздался ласковый, серебристый голос.

Фома взглянул из-за плеча отца и увидел: в переднем углу комнаты, облокотясь на стол, сидела маленькая женщина с пышными белокурыми волосами; на бледном лице ее резко выделялись темные глаза, тонкие брови и пухлые, красные губы. Сзади кресла стоял большой филодрон – крупные, узорчатые листья висели в воздухе над ее золотистой головкой.

– Доброго здоровья, Софья Павловна, – умильно говорил Маякин, подходя к ней с протянутой рукой. – Что, всё контрибуции собираете с нас, бедных?

Фома молча поклонился ей, не слушая ни ее ответа Маякину, ни того, что говорил ему отец. Барыня пристально смотрела на него, улыбаясь приветливо. Ее детская фигура, окутанная в какую-то темную ткань, почти сливалась с малиновой материей кресла, отчего волнистые золотые волосы и бледное лицо точно светились на темном фоне. Сидя там, в углу, под зелеными листьями, она была похожа и на цветок и на икону.

– Смотри, Софья Павловна, как он на тебя воззрится, – орел, а? – говорил Игнат.

Ее глаза сузились, на щеках вспыхнул слабый румянец, и она засмеялась – точно серебряный колокольчик зазвенел. И тотчас же встала, говоря:

– Не буду мешать вам, до свидания!

Когда она бесшумно проходила мимо Фомы, на него пахнуло духами, и он увидел, что глаза у нее темно-синие, а брови почти черные.

– Уплыла щука, – тихо сказал Маякин, со злобой глядя вслед ей.

– Ну, рассказывай нам, как ездил? Много ли денег прокутил? – гудел Игнат, толкая сына в то кресло, в котором только что сидела Медынская. Фома покосился на него и сел в другое.

– Что, хороша, видно, бабеночка-то? – посмеиваясь, говорил Маякин, щупая Фому своими хитрыми глазками. – Вот будешь ты при ней рот разевать... так она все внутренности у тебя съест...

Фома почему-то вздрогнул и, не ответив ему, деловым тоном начал говорить отцу о поездке. Но Игнат перебил его речь:

– Погоди, я коньячку спрошу...

– А ты тут все пьешь, говорят... – неодобрительно сказал Фома.

Игнат с удивлением и любопытством взглянул на него и спросил:

– Да разве отцу можно этак говорить, а?

Фома сконфузился и опустил голову.

– То-то! – добродушно сказал Игнат и крикнул, чтоб дали коньяку...

Маякин, прищутив глаза, посмотрел на Гордеевых, вздохнул, простился и ушел, пригласив их вечером к себе пить чай в малиннике.

– Где же тетка Анфиса? – спросил Фома, чувствуя, что теперь, наедине с отцом, ему стало почему-то неловко.

– В монастырь поехала... Ну, говори мне, а я – выпью...

Фома в несколько минут рассказал отцу о делах и закончил рассказ откровенным признанием:

– Денег я истратил на себя... много.

– Сколько?

– Рублей... шестьсот...

– В полтора-то месяца! Немало... Вижу, что для приказчика – дорог ты мне... Куда ж это ты их всыпал?

– Триста пуд хлеба подарил...

– Кому? Как?

Фома рассказал.

– Ну это – ничего! – одобрил его отец. – Это – знай наших!.. Тут дело ясное – за отцову честь... за честь фирмы... И убытка тут нету, потому – слава добрая есть, а это, брат, самая лучшая вывеска для торговли... Ну, а еще?

– Да... так, как-то... истратил...

– Говори прямо... не о деньгах спрашиваю, – хочу знать, как ты жил, – настаивал Игнат, внимательно и строго рассматривая сына.

– Ел... пил... – не сдавался Фома, угрюмо и смущенно наклоняя голову.

– Пил? Водку?

– И водку...

– А! Не рано ли?

– Спроси Ефима – напивался ли я допьяна...

– На что спрашивать Ефима? Ты сам должен все сказать... Так, стало быть, пьешь?

– Могу и не пить...

– Где уж! Коньяку хочешь?

Фома посмотрел на отца и широко улыбнулся. И отец ответил ему добродушной улыбкой.

– Эх ты... черт! Пей... да смотри, – дело разумеешь... Что поделаешь?.. пьяница – пропитается, а дурак – никогда... будем хоть это помнить... для своего утешения... Ну и с девками гулял? Да говори прямо уж! Что я – бить тебя, что ли, буду?

– Гулял... была одна на пароходе... От Перми до Казани вез ее...

– Ну... – Игнат тяжело вздохнул и, насупившись, сказал: – Рано опоганился...

– Мне двадцать лет... А ты говорил, что в твоё время пятнадцатилетних парнишек женили... – смущенно возразил ему сын.

– То – женили... Ну, ладно, будет про это говорить... Ну, повелся с бабой, – что же? Баба – как оспа, без нее не проживешь... А мне лицемерить не приходится... я раньше твоего начал к бабам лнуть... Однако соблюдай с ними осторожность...

Игнат задумался и долго молчал, сидя неподвижно, низко склонив голову.

– Вот что, Фома, – вновь заговорил он сурово и твердо, – скоро я помру... Стар. В груди у меня теснит, дышать мне тяжело... помру... Тогда все дело на тебя ляжет... Ну, сначала крестный поможет тебе – слушай его! Начал ты... не худо, все обделал, как следует, вожжи в руках крепко держал... Дай бог и впредь так же... Знай вот что: дело – зверь живой и сильный, править им нужно умеючи, взнуздывать надо крепко, а то оно тебя одолеет... Старайся стоять выше дела... так поставь себя, чтоб все оно у тебя под ногами было, на виду, чтоб каждый малый гвоздик в нем – виден был тебе...

Фома смотрел на широкую грудь отца, слушал его густой голос и думал про себя:

«Ну, не скоро ты помрешь!»

Эта мысль была приятна ему и возбуждала в нем доброе, горячее чувство к отцу.

– Крестного держись... у него ума в башке – на весь город хватит! Он только храбрости лишен, а то – быть бы ему высоко. Да, – так, говорю, недолго мне жить осталось... По-настоящему, пора бы готовиться к смерти... Бросить бы все, да поговорить, да заботиться, чтоб люди меня добром вспомняли...

– Вспомнят! – уверенно сказал Фома.

– Было бы за что...

– А ночлежный-то дом?

Игнат взглянул на сына и засмеялся.

– Сказал Яков-то, успел! Ругал, чай, меня?

– Было немножко, – улыбнулся Фома.

– Ну, еще бы! Али я его не знаю?

– Он насчет этого так говорил, точно его деньги-то...

Игнат откинулся на спинку кресла и расхохотался еще сильнее.

– Ах старый ворон, а? Это ты верно... Для него что свои деньги, что мои – все едино, – вот он и дрожит... Цель есть у него, лысого... Ну-ка скажи – какая?

Фома подумал и сказал:

– Не знаю...

– Э! Соединить он деньги-то хочет...

– Как это?

– Да ну, догадайся!..

Фома посмотрел на отца и – догадался. Лицо его потемнело, он привстал с кресла, решительно сказав:

– Нет, я не хочу! Я на ней не женюсь!

– О? Что так? Девка здоровая, неглупая, одна у отца...

– А Тарас? Пропавший-то?

– Пропавший – пропал, о нем, стало быть, и речь вести не стоит... Есть духовная, и в ней сказано: «Все мое движимое и недвижимое – дочери моей Любви...» А насчет того, что сестра она тебе крестовая, – обладим...

– Все равно, – твердо сказал Фома, – я на ней не женюсь!

– Ну, об этом рано говорить... Однако – что это она как не по душе тебе?

– Не люблю таких...

– Та-ак! Ах ты, скажите, пожалуйста! Какие же вам, сударь, больше по вкусу?..

– Которые попроще... Она там с гимназистами да с книжками... ученая стала!.. Смеяться будет надо мной... – взволнованно говорил Фома.

– Это, положим, верно, – бойка она – не в меру... Но это – пустое дело! Всякая ржавчина очищается, ежели руки приложить... А крестный твой – умный старик... Житье его было спокойное, сидячее, ну, он, сидя на одном-то месте, и думал обо всем... его, брат, стоит послушать, он во всяком житейском деле изнанку видит... Он у нас – ристократ – от матушки Екатерины! Много о себе понимает... И как род его искоренился в Тарасе, то он и решил – тебя на место Тараса поставить, чувствуешь?

– Нет, уж я сам себе место выберу, – упрямо сказал Фома.

– Глуп еще ты... – усмехнулся отец.

Их разговор был прерван приходом тетки Анфисы...

– Фомушка! Приехал... – кричала она где-то за дверями, Фома встал и пошел навстречу ей, ласково улыбаясь...

...Вновь жизнь его потекла медленно и однообразно. Сохранив по отношению к сыну тон добродушно-насмешливый и поощрительный, отец в общем стал относиться к нему строже, ставя ему на вид каждую мелочь и все чаще напоминая, что он воспитывал его свободно, ни в чем не стеснял, никогда не бил.

– Другие отцы вашего брата поленьями бьют, а я пальцем тебя не тронул!

– Видно, не за что было, – спокойно заявил однажды Фома.

Игнат рассердился на сына за эти слова и тон.

– Поговори! – зарычал он. – Набрался храбрости под мягкой-то рукой... На всякое слово ответ находишь. Смотри – рука моя хоть и мягкая была, но еще так сжать может, что у тебя из пяток слезы брызнут!.. Скоро ты вырос – как гриб-поганка, чуть от земли поднялся, а уж воняешь...

– За что ты сердишься на меня? – недоуменно спросил Фома отца, когда тот был в добром настроении...

– А ты не можешь стерпеть, когда отец ворчит на тебя... в спор сейчас лезешь!..

– Да ведь обидно... Я хуже не стал... вижу я ведь, как вон другие в мои лета живут...

– Не отвалится у тебя голова, ежели я ругну тебя иной раз... А ругаюсь – потому что вижу в тебе что-то не мое... Что оно – не знаю, а вижу – есть... И вредное оно тебе...

Эти слова отца заставили Фому глубоко задуматься. Он сам чувствовал в себе что-то особенное, отличавшее его от сверстников, но тоже не мог понять – что это такое? И подозрительно следил за собой...

Ему нравилось бывать на бирже, в шуме и говоре солидных людей, совершавших тысячные дела; ему льстило почтение, с которым здоровались, разговаривали с ним, Фомой Гордеевым, менее богатые промысловые люди. Он чувствовал себя счастливым и гордым, если порой ему удавалось распорядиться за свой страх чем-нибудь в отцовском деле и заслужить одобрительную усмешку отца. В нем было много честолюбивого стремления – казаться взрослым и деловым человеком, но жил он одиноко, как раньше, и не чувствовал стремления иметь друзей, хотя каждый день встречался со многими из детей купцов, сверстниками своими. Не раз они приглашали его покутить, но он грубовато и пренебрежительно отказывался от приглашений и даже посмеивался:

– Боюсь... Узнают отцы ваши про эти кутежи, да как бить вас станут, пожалуй, и мне от них попадет по шее...

Ему не нравилось в них то, что они кутят и развратничают тихонько от отцов, на деньги, украденные из отцовских касс или взятые под долгосрочные векселя и большие проценты. Они тоже не любили его за эту сдержанность, в которой чувствовали гордость, обидную им.

Он часто вспоминал Пелагею, и сначала ему было тоскливо, когда образ ее вспыхивал в его воображении... Но время шло, стирало понемногу яркие краски с этой женщины, и незаметно для него место в мечтах его заняла маленькая, ангелоподобная Медынская. Она почти каждое воскресенье заезжала к Игнату с различными просьбами, в общем имевшими одну цель – ускорить постройку ночлежного дома. В ее присутствии Фома чувствовал себя неуклюжим, огромным, тяжелым; это обижало его, и он густо краснел под ласковым взглядом больших глаз Софьи Павловны. Он замечал, что каждый раз, когда она смотрела на него, – глаза ее темнели, а верхняя губа вздрагивала и чуть-чуть приподнималась кверху, обнажая крошечные белые зубы. Это всегда пугало его. Отец, подметив его взгляды на Медынскую, сказал ему:

– Ты не очень пяль глаза-то на эту рожицу. Она, смотри, – как березовый уголь: снаружи он бывает такой же вот скромный, гладкий, темненький, – кажись, совсем холодный, – а возьми в руку, – ожгет...

Медынская не возбуждала в юноше чувственного влечения, в ней не было ничего похожего на Пелагею, и вообще она была непонятна ему. Он знал, что про нее рассказывают зазорно, но этому не верил. Однако он изменил отношение к ней, когда увидел ее в коляске сидящей рядом с толстым барином в серой шляпе и с длинными косичками волос на плечах. Лицо у него было как пузырь – красное, надутое; ни усов, ни бороды не было на нем, и весь этот человек был похож на переодетую женщину... Фоме сказали, что это ее муж... Тогда в нем вспыхнули темные и противоречивые чувства: ему захотелось обидеть архитектора, и в то же время он почувствовал зависть и уважение к нему. Медынская показалась менее красивой и более доступной; ему стало жаль ее, и все-таки он злорадно подумал: «Противно ей, должно быть, когда он ее целует...» И за всем этим он порою ощущал в себе какую-то бездонную, томительную пустоту, которой не заполняли ни впечатления истекшего дня, ни воспоминания о давних; и биржа, и дела, и думы о Медынской – все поглощалось этой пустотой... Его тревожила она: в темной глубине ее он подозревал притаившееся существование какой-то враждебной ему силы, пока еще бесформенной, но уже осторожно и настойчиво стремившейся воплотиться...

А между тем Игнат, мало изменяясь по внешности, становился все более беспокойным, ворчливым и все чаще жаловался на недомоганье.

– Сон я потерял... бывало, дрыхну – хоть кожу с меня сдери, не услышу! А теперь ворочаюсь, ворочаюсь с боку на бок, едва под утро засну... Сердце бьется неровно, то как загнанное, часто так – тук-тук-тук... а то вдруг замрет, – кажись, вот сейчас оторвется да и упадет куда-то, в недра самые... Помилуй мя, боже, по велицей милости твоей!..

И, покаянно вздыхая, он поднимал к небу глаза, уже мутные, утратившие живой, умный блеск.

– Стережет меня смерть где-то поблизости, – говорил он угрюмо, но покорно.

И действительно – скоро она опрокинула на землю его большое, мощное тело.

Это случилось в августе, ранним утром. Фома крепко спал и вдруг почувствовал, что его трясут за плечо и хриплый голос гудит над его ухом:

– Вставай...

Он открыл глаза и увидел, что отец сидит на стуле у его кровати, однозвучно и глухо повторяя:

– Вставай, вставай!..

Только что взошло солнце, и свет его, лежавший на белой, полотняной рубашке Игната, еще не утратил розовой окраски.

– Рано, – сказал Фома, потягиваясь.

– После выплещись...

Лениво кутаясь в одеяло, Фома спросил:

– Али надо что?

– Да встань ты, братец мой, пожалуйста! – воскликнул Игнат и обиженно добавил: – Стало быть, надо, коли бужу...

Всмотревшись в лицо отца, Фома увидал, что оно серо, устало.

– Нездоровится тебе? Доктора, что ли?

– Ну его! – махнул Игнат рукой. – Чай, я не молоденький... и без того знаю...

– Что?

– Да... уж знаю! – таинственно сказал старик и странно как-то оглядел комнату.

Фома одевался, а отец его, опустив голову, медленно говорил:

– Дышать боюсь... Такая у меня мысль, что, если я вздохну теперь всей грудью, – сердце должно лопнуть... Сегодня воскресенье! После ранней-то обедни за попом пошли...

– Что ты это, папаша! – усмехнулся Фома.

– Ничего я... Умывайся да иди в сад, – велел я туда самовар подать... На утреннем-то холодке и попьем чаю... Очень мне чаю хочется, густого, горячего...

Старик тяжело поднялся со стула и, нетвердо ступая босыми ногами, согнувшись, ушел из комнаты. Фома посмотрел вслед отцу, колющий холод страха сжал его сердце. Наскоро умывшись, он спешно пошел в сад.

Там под старой, развесистой яблоней, в большом дубовом кресле сидел отец. Солнечный свет падал сквозь ветви дерева тонкими лентами на белую фигуру старика в ночном белье. В саду было так внушительно тихо, что даже шелест ветки, нечаянно задетой платьем Фомы, показался ему громким звуком, – он вздрогнул... На столе стоял самовар, мурлыкал, как сытый кот, и выбрасывал в воздух струю пара. В тишине и свежей зелени сада, накануне омытой обильным дождем, яркое пятно нахально сияющей шумной меди показалось Фоме ненужным, не подходящим ко времени, месту и чувству, которое родилось в нем при виде больного, согбенного старика, одетого в белое, одиноко сидящего под кровом темно-зеленой листвы, в которой скромно прятались румяные яблоки.

– Садись, – сказал Игнат...

– Послать бы за доктором-то... – нерешительно посоветовал сын, усаживаясь против него...

– Не надо... На воздухе-то отошло будто... А вот чаю хлебну, авось и еще легче будет... – говорил Игнат, наливая чай, и Фома видел, что чайник трясется в руке отца.

Молча подвинув к себе стакан, Фома наклонился над ним и с тяжестью в сердце слушал громкое, короткое дыхание отца...

Вдруг что-то стукнуло по столу так громко, что посуда задрожала.

Фома вздрогнул, вскинул голову и встретился с испуганным, почти безумным взглядом отца. Игнат смотрел на сына и хрипло шептал:

– Яблоко упало... пострели его горой! Ведь как из ружья грохнуло... а?

– Тебе коньяку бы в чай-то... – предложил Фома.

– И так ладно...

Замолчали... Стая чижей пронеслась над садом, рассыпав в воздухе задорно-веселый щебет. И снова зрелую красоту сада обняло торжественное молчание. Ужас все еще не исчезал из глаз Игната...

– Господи Иисусе Христе! – вполголоса заговорил он, истово крестясь. – Н-да... вот он и наступил – последний-то час жизни...

– Полно, папаша! – прошептал Фома.

– Чего полно?.. Вот попьем чаю, ты пошли за попом да за кумом...

– Я лучше сейчас...

– Сейчас к обедне ударят... по па нет... да и некуда торопиться, может, еще отойдет...
И он стал громко схлебывать чай с блюдца...

– Надо бы мне год, два еще пожить... Молод ты... очень боюсь я за тебя! Живи честно и твердо... Чужого не желай, свое береги крепко...

Ему трудно было говорить, он остановился и потер грудь рукой.

– На людей – не надейся... многого от них не жди... Мы все для того живем, чтобы взять, а не дать... О, господи! помилуй грешника!

Где-то вдали густой звук колокола упал в тишину утра. Игнат с сыном трижды перекрестились...

За первым криком меди раздался второй, третий, и скоро воздух наполнили звуки благовеста, доносившиеся со всех сторон, – плавные, мерные, громко зовущие...

– Вот и к обедне ударили, – сказал Игнат, вслушиваясь в гул меди... – Ты колокола по голосу знаешь?

– Нет, – отвечал Фома.

– Вот этот – слышишь? – басовый такой, это у Николы, Петра Митрича Вагина жертва... а этот, с хрипотой, это у Праскевы Пятницы...

Поющие волны звона колебали воздух, насыщенный ими, и таяли в ясной синеве неба. Фома задумчиво смотрел на лицо отца и видел, что тревога исчезает из глаз его, они оживляются...

Но вдруг лицо старика густо покраснело, глаза расширились и выкатились из орбит, рот удивленно раскрылся, а из горла вылетел странный, шипящий звук:

– Ф... ф... ахх...

Вслед за тем голова Игната откатнулась на плечо, а его грузное тело медленно поползло с кресла на землю, точно земля властно потянула его к себе. Несколько секунд Фома не двигался и молчал, со страхом и изумлением глядя на отца, но потом бросился к Игнату, приподнял его голову с земли и взглянул в лицо ему. Лицо было темное, неподвижное, и широко открытые глаза на нем не выражали ничего: ни боли, ни страха, ни радости... Фома оглянулся вокруг себя: как и раньше, в саду никого не было, а в воздухе все плавал гулкий говор колоколов... Руки Фомы задрожали, он выпустил из них голову отца, и она тупо ударилась о землю... Темная, липкая кровь тонкой струей полилась из открытого рта по синей щеке...

Фома ударил себя руками в грудь и, стоя на коленях пред трупом, дико и громко закричал... И весь трясся от ужаса и безумными глазами все искал кого-то в зелени сада...

IV

Смерть отца ошеломила Фому и наполнила его странным ощущением: в душу ему влилась тишина, – тяжелая, неподвижная тишина, безответно поглощавшая все звуки жизни. Вокруг него суетились знакомые люди; являлись, исчезали, что-то говорили ему, – он отвечал им, но речи их не вызывали в нем никаких представлений, бесследно утопая в бездонной глубине мертвого молчания, наполнявшего душу его. Он не плакал, не тосковал и не думал ни о чем; угрюмый, бледный, нахмутив брови, он сосредоточенно вслушивался в эту тишину, которая вытеснила из него все чувства, опустошила его сердце и, как тисками, сжала мозг. Похоронами распорядился Маякин. Он спешно и бодро бегал по комнатам, твердо постукивая каблуками сапог, хозяйственно покрикивал на прислугу, хлопал крестника по плечу и утешал его:

– А ты, парень, чего окаменел? Отец был стар, ветх плотью... Всем нам смерть уготована, ее же не избежешь... стало быть, не следует прежде времени мертветь... Ты его не воскресишь печалью, и ему твоей скорби не надо, ибо сказано: «егда душа от тела имать нуждею восхититься страшными аггелы – всех забывает сродников и знаемых...» – значит, весь ты для него теперь ничего не значишь, хоть ты плачь, хоть смейся... А живой о живом пещись должен... Ты лучше плачь – это дело человеческое... очень облегчает сердце...

Но и эти речи ничего не задевали ни в голове, ни в сердце Фомы.

Он очнулся в день похорон благодаря настойчивости крестного, все время усердно и своеобразно старавшегося возбудить его подавленную душу.

День похорон был облачен и хмур. В туче густой пыли за гробом Игната Гордеева черной массой текла огромная толпа народа; сверкало золото риз духовенства, глухой шум ее медленного движения сливался с торжественной музыкой хора архиерейских певчих. Фому толкали и сзади и с боков; он шел, ничего не видя, кроме седой головы отца, и заунывное пение отдавалось в груди его тоскливым эхом. А Маякин, идя рядом с ним, назойливо и неустанно шептал ему в уши:

– Гляди, сколько народу прет – тысячи!.. Сам губернатор пришел отца твоего проводить... городской голова... почти вся дума... а сзади тебя – обернись-ка! – Софья Павловна идет... Почтил город Игната...

Сначала Фома не вслушивался в шепот крестного, но когда тот сказал ему о Медынской, он невольно оглянулся назад и увидел губернатора. Маленькая капелька чего-то приятного канула в душу его при виде этого важного человека в яркой ленте через плечо, в орденах на груди, и шагавшего за гробом с грустью на строгом лице.

– «Блажен путь, в онь же идеши днесь, душе...» – тихонько напевал Яков Тарасович, поводя носом, и снова шептал в ухо крестника: – Семьдесят пять тысяч рублей – такая сумма, что за нее можно столько же и провожатых потребовать... Слыхал ты, что Сонька-то в сорочкины как раз закладку устраивает?

Фома вновь обернулся назад, и глаза его встретились с глазами Медынской. От ее ласкающего взгляда он глубоко вздохнул, и ему сразу стало легче, точно горячий луч света проник в его душу и что-то растаяло там. И тут же он сообразил, что не подобает ему вертеть головой из стороны в сторону.

В церкви душа Фомы напиталась торжественно-мрачной поэзией литургии, и, когда раздался трогательный призыв: «Приидите, последнее целование дадим», – из груди его вырвалось такое громкое воющее рыдание, что толпа всколыхнулась от этого крика скорби.

Крикнув, он пошатнулся на ногах. Крестный тотчас же подхватил его под руки и стал толкать ко гробу, напевая довольно громко и с каким-то азартом:

– «Целуйте бывшего в мале с на-ами» – целуй, Фома, целуй! – «предается бо гробу, ка-аменем покрывается... во тьму вселя-ается, с мертвыми погрებაется...»

Фома прикоснулся губами ко лбу отца и с ужасом отпрянул от гроба.

– Тише! С ног было сшиб... – вполголоса заметил ему Маякин, и эти простые, спокойные слова поддержали Фому тверже, чем рука крестного.

– «Зряща мя безгласна и бездыханна предлежаща, восплачьте обо мне, братия и друзи...» – просил Игнат устами церкви. Но его сын уже не плакал: ужас возбудило в нем черное, вспухшее лицо отца, и этот ужас несколько отрезвил его душу, упоенную тоскливой музыкой плача церкви о грешном сыне ее. Его обступили знакомые, внушительно и ласково утешая; он слушал их и понимал, что все они его жалеют и он стал дорог всем.

А крестный шептал в ухо ему:

– Замечай, как они к тебе ластьются... чуют коты сало...

Эти слова были неприятны Фоме, но были полезны ему тем, что заставляли его так или иначе внутренне откликаться на них.

На кладбище, при пении вечной памяти, он снова горько и громко зарыдал. Крестный тотчас же схватил его под руку и повел прочь от могилы, с сердцем говоря ему:

– Экой ты, брат, малодушный! Али мне его не жалко? Ведь я настоящую цену ему знал, а ты только сыном был. А вот не плачу я... Три десятка лет с лишком прожили мы душа в душу с ним... сколько говорено, сколько думано... сколько горя вместе выпито!.. Молод ты – тебе ли горевать? Вся жизнь твоя впереди, и будешь ты всякой дружбой богат. А я стар... и вот единого друга схоронил и стал теперь как нищий... не нажить уж мне товарища для души!

Голос старика странно задрезжал и заскрипел. Его лицо перекошилось, губы растянулись в большую гримасу и дрожали, морщины съежились, и по ним из маленьких глаз текли слезы, мелкие и частые. Он был так трогательно жалок и не похож сам на себя, что Фома остановился, прижал его к себе с нежностью сильного и тревожно крикнул:

– Не плачьте, папаша... Голубчик! Не плачьте...

– То-то вот! – слабо проговорил Маякин и, тяжело вздохнув, вдруг снова превратился в твердого и умного старика...

– Тебе распускать нюни нельзя... – таинственно заговорил он, садясь в коляску рядом с крестником. – Ты теперь – полководец на войне и должен своими солдатиками командовать храбро. А солдатика твои – рубли, и у тебя их бо-ольшая армия... Воюй, знай!

Фома, удивленный быстротой его превращения, слушал его слова, и почему-то они напомнили ему об ударах тех комьев земли, которыми люди бросали в могилу Игната, на гроб его.

– Говорил ли тебе отец-то, что я старик умный и что надо слушать меня?..

– Говорил.

– Ты и слушай!.. Ежели мой ум присовокупить к твоей молодой силе – хорошую победу можно одержать... Отец твой был крупный человек... да недалеко вперед смотрел и не умел меня слушаться... И в жизни он брал успех не умом, а сердцем больше... Ох, что-то из тебя выйдет... Ты переезжай ко мне, а то одному жутко будет в доме...

– Тетя там...

– Тетя... она хворает... тоже недолгая она жилица на земле...

– Не говорите про это, – тихо попросил Фома.

– А я буду говорить. Смерти нечего бояться тебе, – ты не старуха на печи! Ты живи себе безбоязненно и делай то, к чему назначен. А человек назначен для устройства жизни на земле. Человек – капитал... он, как рубль, составляется из дрянных медных грошей да копеек. Из персти земной, сказано... А по мере того, как обращается он в жизни, впитывает в себя сальце да маслице, пот да слезы, – образуются в нем душонка и умишко... И с того начинает он расти и вверх и вниз... то, глядишь, цена ему пятак, то пятиалтынный, то сотня рублей... а бывает он и выше всяких цен... Пущен он в обращение и должен для жизни проценты принести. Жизнь

всем нам цену знает, и раньше времени она ходу нашего не остановит... никто, брат, себе в убыток не действует, ежели он умный... Ты меня слушаешь?

– Слушаю...

– А что ты понимаешь?

– Все...

– Врешь, чай? – усомнился Маякин.

– Но только – зачем умирать надо? – тихо спросил Фома.

Крестный с сожалением взглянул в лицо ему, почмокал губами и сказал:

– Вот этого умный человек никогда не спросит. Умный человек сам видит, что ежели река – так она течет куда-нибудь... а кабы она стояла, то было бы болото...

– Зря вы насмехаетесь... – угрюмо сказал Фома. – Море тоже вон никуда не течет...

– Оно все реки принимает в себя... и бывают в нем сильные бури... Так же и житейское море от людей питается волнением... а смерть обновляет воды его... дабы не протухли... Как люди ни мрут, а их все больше становится...

– Что из того? Отец-то умер...

– И ты умрешь...

– Так какое мне дело, что людей больше прибывает? – тоскливо усмехнулся Фома.

– Э-эхе-хе! – вздохнул Маякин. – И никому до этого дела нет... Вон и штаны твои, наверно, так же рассуждают: какое нам дело до того, что на свете всякой материи сколько угодно? Но ты их не слушаешь – износишь да и бросишь...

Фома укоризненно посмотрел на крестного и, видя, что старик улыбается, удивился и с уважением спросил:

– Неужто вы, папаша, не боитесь смерти?

– Я, деточка, паче всего боюсь глупости, – со смиренной ядовитостью ответил Маякин. – Я так полагаю: даст тебе дурак меду – плюнь; даст мудрец яду – пей! А тебе скажу: слаба, брат, душа у ерша, коли у него щетинка дыбом не стоит...

Насмешливые слова старика обидели и озлили Фому. Он отвернулся в сторону и сказал:

– Не можете вы без вывертов без этих говорить...

– Не могу! – воскликнул Маякин, и глаза его тревожно заиграли. – Каждый говорит тем самым языком, какой имеет. Суров я кажусь? Так, что ли?

Фома молчал.

– Эх ты... Ты вот что знай – любит тот, кто учит... Твердо это знай... И насчет смерти не думай... Безумно живому человеку о смерти думать. «Екклезиаст» лучше всех о ней подумал, подумал и сказал, что даже псу живому лучше, чем мертвому льву...

Приехали домой. Вся улица перед домом была заставлена экипажами, и из раскрытых окон в воздух лился громкий говор. Как только Фома явился в зале, его схватили под руки и потащили к столу с закусками, убеждая его выпить и съесть чего-нибудь. В зале было шумно, как на базаре; было тесно и душно. Фома молча выпил одну рюмку водки, две, три... Вокруг него чавкали, чмокали губами, булькала водка, выливаемая из бутылки, звенели рюмки... Говорили о балыке и октаве солиста в архиерейском хоре, и снова о балыке, и о том, что городской голова тоже хотел сказать речь, но после архиерея не решился, боясь сказать хуже его. Кто-то с умилением рассказывал:

– Покойник так делал: отрежет ломтик семушки, поперчит его густенько, другим ломтиком прикроет да вслед за рюмкой и пошлет.

– По-оследуем его примеру! – гудел густой бас.

Фома, нахмурившись, с обидой в сердце, смотрел на жирные губы и челюсти, жевавшие вкусные яства, ему хотелось закричать и выгнать вон всех этих людей, солидность которых еще недавно возбуждала в нем уважение к ним.

– А ты будь поласковее, поразговорчивее... – вполголоса сказал Маякин, появляясь около него.

– Чего они жрут здесь? В трактир пришли, что ли? – громко и со злобой сказал Фома.

– Чшш... – испуганно заметил Маякин и быстро оглянулся с любезной улыбкой на лице.

Но было поздно: его улыбка ничему не помогла. Слова Фомы услышали, – шум и говор в зале стал уменьшаться, некоторые из гостей как-то торопливо засуетились, иные, обиженно нахмурившись, положили вилки и ножи и отошли от стола с закусками, многие искоса смотрели на Фому.

Он встречал эти взгляды, не опуская глаз, злой и молчаливый.

– За стол прошу! – кричал Маякин, мелькая в толпе людей, как искра в пепле. – Пожалуйста, садитесь! Сейчас блины дают.

Фома передернул плечами и пошел к дверям, громко сказав:

– Я обедать не буду...

Он слышал неприязненный гул сзади себя и вкрадчивый голос крестного, говоривший кому-то:

– С горя, – ведь Игнат ему отцом и матерью был!..

Фома пришел в сад на то место, где умер отец, и там сел. Чувство одиночества и тоска давили ему грудь. Он расстегнул ворот рубашки, чтобы облегчить дыхание себе, облокотился на стол и, сжав голову руками, неподвижно замер. Накрапывал мелкий дождик, листва яблони меланхолично шумела под ударами капель. Долго сидел он, не шевелясь и глядя, как на стол падают с яблони мелкие капли. От выпитой водки в голове его шумело, а сердце сосала обида на людей. Какие-то неопределенные мысли зарождались и исчезали в нем; перед ним мелькал голый череп крестного в венчике серебряных волос, с темным лицом, похожим на лики старинных икон. Это лицо с беззубым ртом и ехидной улыбкой, возбуждая у Фомы неприязнь и опасение, еще более усиливало в нем сознание одиночества. Потом вспомнились ему кроткие глаза Медынской, ее маленькая, стройная фигурка, а рядом с ней почему-то встала дородная, высокая и румяная Любовь Маякина со смеющимися глазами и толстой золотисто-русой косой. Воздух был полон унылых звуков... Серое небо точно плакало, и на деревьях дрожали холодные слезы. А в душе Фомы было сухо, темно; жуткое чувство сиротства наполняло ее... Но из этого чувства уже зарождался вопрос:

«Как жить буду?»

Дождь смочил его платье; он почувствовал дрожь холода и ушел в дом...

Жизнь дергала его со всех сторон, не давая ему сосредоточиться на думах. В сороковой день по смерти Игната он поехал на церемонию закладки ночлежного дома, парадно одетый и с приятным чувством в груди. Накануне Медынская известила его письмом, что он избран в члены комитета по надзору за постройкой и в почетные члены того общества, в котором она председательствовала. Ему понравилось это, и его очень волновала та роль, которую он должен был играть сегодня, при закладке. Он ехал и думал о том, как все это будет и как нужно ему вести себя, чтобы не сконфузиться перед людьми.

– Эй, эй! Стой!

Он оглянулся, – с тротуара быстро бежал к нему Маякин в сюртуке до пят, в высоком картузе и с огромным зонтом в руке.

– Ну-ка, подвези-ка меня! – говорил старик, ловко, как обезьяна, прыгнув в экипаж. – Я, признаться сказать, поджидал тебя, поглядывал; время, думаю, ему ехать...

– Вы туда? – спросил Фома.

– А как же? Надо посмотреть, как деньги друга моего в землю зарывать будут.

Фома искоса взглянул на него и смолчал.

– Что косишься? Небось, и ты тоже в благодетели к людям пойдешь?

– Это как, то есть? – сдержанно спросил Фома.

– Читал я сегодня в газете – в члены тебя выбрали по дому-то да еще в общество, в Софьино, в почетные... Въедет тебе в карман членство это! – вздохнул Маякин.

– Не разорюсь, чай?

– Не знаю я этого... – съехидничал старик. – Я насчет того больше, что очень уж не мудро это самое благотворительное дело... И даже так я скажу, что не дело это, а – одни вредные пустяки!

– Это людям-то помогать вредно? – с задором спросил Фома.

– Эх, голова садовая, то есть – капуста! – сказал Маякин с улыбочкой. – Ты вот ужо приезжай-ка ко мне, я тебе насчет всего этого глаза открою... надо учить тебя! Приедешь?

– Хорошо!

– Ну вот... А пока что ты на закладке этой держись гордо, стой на виду у всех. Тебе этого не сказать, так ты за спину за чью-нибудь спрячешься...

– Зачем мне прятаться? – недовольно сказал Фома.

– И я говорю: совершенно незачем. Потому деньги дадены твоим отцом, а почет тебе должен пойти по наследству. Почет – те же деньги... с почетом торговому человеку везде кредит, всюду дорога... Ты и выдвигайся вперед, чтобы всяк тебя видел и чтоб, ежели сделал ты на пятак, – на целковый тебе воздали... А будешь прятаться – выйдет неразумие одно.

Они приехали к месту, когда уже все важные люди были в сборе и толпа народа окружала груды леса, кирпича и земли. Архиерей, губернатор, представители городской знати и администрации образовали вместе с пышно разодетыми дамами большую яркую группу и смотрели на возню двух каменщиков, приготавливавших кирпичи и известь. Маякин с крестником направился к этой группе, нашептывая Фоме:

– Не робей... Хотя у них на брюхе-то шелк, да в брюхе-то – щелк.

И почтительно-веселым голосом он поздоровался с губернатором прежде архиерея.

– Доброго здоровьица, ваше превосходительство! Благословите, ваше преосвященство!

– А, Яков Тарасович! – дружелюбно воскликнул губернатор, с улыбкой стиснув руку Маякина и потрясая ее, в то время как старик прикладывался к руке архиерея. – Как поживаете, бессмертный старичок?

– Покорнейше вас благодарю, ваше превосходительство! Софье Павловне низжайшее почтение! – быстро говорил Маякин, вертясь волчком в толпе людей. В минуту он успел поздороваться и с председателем суда, и с прокурором, и с головой – со всеми, с кем считал нужным поздороваться первый; таковых, впрочем, оказалось немного. Он шутил, улыбался и сразу занял своей маленькой особой внимание всех, а Фома стоял сзади его, опустив голову, исподлобья посматривая на расшитых золотом, облеченных в дорогие материи людей, завидовал бойкости старика, робел и, чувствуя, что робеет, – робел еще больше.

Но вот крестный схватил его за руку и потянул к себе.

– Вот, ваше превосходительство, крестник мой, Фома, покойника Игната сын единственный.

– А-а! – пробасил губернатор. – Очень приятно... Сочувствую вашему горю, молодой человек! – пожимаая руку Фомы, сказал он и помолчал; потом уверенно добавил: – Потерять отца... это очень тяжелое несчастье!

И, подождав секунды две ответа от Фомы, отвернулся от него, одобрительно говоря Маякину:

– Я в восторге от вашей речи вчера в думе! Прекрасно, умно, Яков Тарасович... они не понимают истинных нужд населения...

– И потом, ваше превосходительство, капиталишко маленький – значит, город свою деньгу должен добавлять...

– Совершенно верно! Совершенно верно!

– Трезвость, я говорю, это хорошо! Это дай бог всякому. Я сам не пью... но зачем эти читальни, ежели он – народ-то этот – читать даже и не умеет?

Губернатор одобрительно мычал.

– А вот, говорю, вы денежки на техническое приспособьте... Ежели его в малых размерах завести, то – денег одних этих хватит, а в случае можно еще в Петербурге попросить – там дадут! Тогда и городу своих добавлять не надо и дело будет умнее.

– Именно! Но как закричали на вас либералы-то, а?

– Уж такое их дело, чтобы кричать...

Густой кашель соборного протодиакона возвестил о начале богослужения.

К Фоме подошла Софья Павловна, поздоровалась и тихо, грустным голосом говорила ему:

– Я смотрела на ваше лицо в день похорон, и у меня сердце сжималось... «Боже мой, – думала я, – как он должен страдать!»

А Фома слушал ее и – точно мед пил.

– Эти ваши крики! Они потрясли мне душу... бедный вы, мальчик мой!.. Я могу говорить вам так, ведь я уже старенькая...

– Вы! – тихо воскликнул Фома.

– А разве нет? – спросила она, наивно глядя в его лицо.

Фома молчал, опустив голову.

– Вы не верите, что я старушка?

– Я вам верю... но только это неправда! – вполголоса и горячо сказал Фома.

– Неправда – что? Что вы верите мне?

– Нет! Не это... а то, что... Я – вы извините! – не умею я говорить! – сказал Фома, весь красный от смущения. – Необразован я...

– Этим не надо смущаться... – покровительственно говорила Медынская. – Вы еще молоды, а образование доступно всем... Но есть люди, которым оно не только не нужно, а способно испортить их... Это люди с чистым сердцем... доверчивые, искренние, как дети... и вы из этих людей... Ведь вы такой, да?

Что мог ответить Фома на этот вопрос? Он искренно сказал:

– Покорно вас благодарю!..

И, увидав, что его слова вызвали в глазах Медынской веселый блеск, почувствовал себя смешным и глупым, тотчас же озлился на себя и подавленным голосом заговорил:

– Да, я такой – что у меня на душе, то и на языке... Фальшивить не умею... смешно мне – смеюсь открыто... глуп я!

– Ну, зачем же так? – укоризненно сказала женщина и, оправляя платье, нечаянно погладила рукой своей его опущенную руку, в которой он держал шляпу, что заставило Фому взглянуть на кисть своей руки и смущенно, радостно улыбнуться. – Вы, конечно, будете на обеде? – спрашивала Медынская.

– Да...

– А завтра на заседании у меня?

– Непременно!

– А может быть, когда-нибудь вы и так просто... в гости зайдете, да?

– Я... благодарю вас! Приду!..

– Мне нужно благодарить вас за это обещание...

Они замолчали. В воздухе плавал благоговейно-тихий голос архиерея, выразительно читавшего молитву, простерев руку над местом закладки дома:

– «...Его же ни ветер, ни вода, не ино что повредити возможет: благоволи ему в конец привестися и в нем жити хотящих от всякого навета сопротивного свободы...»

– Как содержательны и красивы наши молитвы, не правда ли? – спрашивала Медынская.

– Да... – кратко сказал Фома, не понимая ее слов и чувствуя, что опять краснеет.

– Они нашим купеческим интересам всегда будут противники, – убедительно и громко шептал Маякин, стоя недалеко от Фомы рядом с городским головой. – Им что? Им бы только чем-нибудь пред газетой заслужить одобрение, а настоящей сути они постичь не могут... Они напоказ живут, а не для устройства жизни... у них вон они, мерки-то: газеты да Швеция! Доктор-то вчера меня все время этой Швецией шпынял: «Народное, говорит, образование в Швеции... и все там прочее этакое... первый сорт!» Но, однако, – что такое Швеция? Может быть, она – Швеция-то – одна выдумка... для примера приводится... а никакого образования и всяких прочих разных разностей, может, и нет в ней. Мы про нее, про Швецию, только по спичкам да по перчаткам знаем... И опять же мы не для нее живем, и она нам экзамена производить не может... мы нашу жизнь на свою колодку должны делать. Так ли?

А протоиакон, закинув голову, гудел:

– О-основателю до-ома сего... ве-ечная... па-амя-ать!

Фома вздрогнул, но Маякин был уже около него и, дергая его за рукав, спрашивал:

– Обедать едешь?

Бархатная, теплая ручка Медынской снова скользнула по руке Фомы.

Обед был для Фомы пыткой. Первый раз в жизни находясь среди таких парадных людей, он видел, что они и едят и говорят – всё делают лучше его, и чувствовал, что от Медынской, сидевшей как раз против него, его отделяет не стол, а высокая гора. Рядом с ним сидел секретарь того общества, в котором Фома был выбран почетным членом, – молодой судейский чиновник, носивший странную фамилию – Ухтищев. Как бы для того, чтобы его фамилия казалась еще нелепее, он говорил высоким, звонким тенором и сам весь – полный, маленький, круглолицый и веселый говорун – был похож на новенький бубенчик.

– Самое лучшее в нашем обществе – патронесса, самое дельное, чем мы в нем занимаемся, – ухаживание за патронессой, самое трудное – сказать патронессе такой комплимент, которым она была бы довольна, а самое умное – восхищаться патронессой молча и без надежд. Так что вы, в сущности, член не «общества попечения о», а член общества Танталов, состоящих при Софии Медынской.

Фома слушал его болтовню, посматривал на патронессу, озабоченно разговаривавшую о чем-то с полицмейстером, мычал в ответ своему собеседнику, притворяясь занятым едой, и желал, чтоб все это скорее кончилось. Он чувствовал себя жалким, глупым, смешным для всех и был уверен, что все подсматривают за ним, осуждают его.

А Маякин сидел рядом с городским головой, быстро вертел вилкой в воздухе и все что-то говорил ему, играя морщинами. Голова, седой и краснорожий человек с короткой шеей, смотрел на него быком с упорным вниманием и порой утвердительно стучал большим пальцем по краю стола. Оживленный говор и смех заглушали бойкую речь крестного, и Фома не мог расслышать ни слова из нее, тем более что в ушах его все время неустанно звенел тенорок секретаря:

– Смотрите, вон встал протоиакон и заряжает легкие воздухом... сейчас провозгласит вечную память Игнату Матвеевичу...

– Нельзя ли мне уйти? – тихо спросил Фома.

– Почему же нет? Это все поймут...

Гулкий возглас диакона заглушил и как бы раздавил шум в зале; именитое купечество с восхищением уставилось в большой, широко раскрытый рот, из которого лилась густая октава, и, пользуясь этим моментом, Фома встал из-за стола и ушел из зала.

Через минуту он, свободно вздыхая, сидел в своей коляске и думал о том, что среди этих господ ему не место. Он называл их про себя вылизанными, их блеск не нравился ему, не нравились лица, улыбки, слова, но свобода и ловкость их движений, их умение говорить обо всем, их красивые костюмы – все это возбуждало в нем смесь зависти и уважения к ним. Ему

стало обидно и грустно от сознания, что он не умеет говорить так легко и много, как все эти люди, и тут он вспомнил, что Люба Маякина уже не раз смеялась над ним за это.

Фома не любил дочь Маякина, а после того, как он узнал от Игната о намерении крестного женить его на Любе, молодой Гордеев стал даже избегать встреч с нею. Но после смерти отца он почти каждый день бывал у Маякиных, и как-то раз Люба сказала ему:

– Смотрю я на тебя, и знаешь что? – ведь ты ужасно не похож на купца...

– Тоже и ты на купчиху мало похожа... – сказал Фома, подозрительно поглядывая на нее.

Он не понимал назначения ее слов: обидеть она хотела ими его или так просто сказала?

– Слава богу! – ответила она ему и улыбнулась такой хорошей, дружеской улыбкой.

– Чему рада? – спросил он.

– А что мы не похожи на наших отцов.

Фома удивленно посмотрел на нее и смолчал.

– Ты скажи искренно, – понизив голос, говорила она, – ведь ты моего отца не любишь? Не нравится он тебе?

– Не... очень... – медленно сказал Фома.

– Ну, а я очень не люблю.

– За что?

– За все... Поумнее будешь – сам поймешь... Твой отец лучше был.

– Еще бы! – гордо сказал Фома.

После этого разговора между ними почти сразу образовалось влечение друг к другу, и, день ото дня все развиваясь, оно вскоре приняло характер дружбы, хотя и странной несколько.

Люба была одних лет со своим крестовым братом, но относилась к нему, как старшая к мальчику. Она говорила снисходительно, часто подшучивала над ним, в речах ее то и дело мелькали незнакомые Фоме слова, которые она произносила как-то особенно веско, с видимым удовольствием. Она особенно любила говорить о своем брате Тарасе, которого она никогда не видала, но о котором рассказывала что-то такое, что делало его похожим на храбрых и благородных разбойников тетушки Анфисы. Часто, жалуясь на своего отца, она говорила Фоме:

– Вот и ты такой же будешь – кощей!

Все это было неприятно юноше и очень задевало его самолюбие. Но порой она была пряма, проста, как-то особенно дружески ласкова к нему; тогда у него раскрывалось пред нею сердце и оба они подолгу излагали друг пред другом свои думы и чувства.

Оба говорили много, искренно – но Фоме казалось, что все, о чем говорит Люба, чуждо ему и не нужно ей; в то же время он ясно видел, что его неумелые речи нимало не интересуют ее и она не умеет понять их. Сколько бы времени они ни провели за такой беседой – она давала им одно лишь ощущение недовольства друг другом. Как будто невидимая стена недоумения вдруг вырастала пред ними и разъединяла их. Они не решались дотронуться до этой стены, сказать друг другу о том, что они чувствуют ее, и продолжали свои беседы, смутно сознавая, что в каждом из них есть что-то, что может сблизить и объединить их.

Приехав в дом крестного, Фома застал Любу одну. Она вышла навстречу ему, и было видно, что она нездорова или расстроена: глаза у нее лихорадочно блестели и были окружены черными пятнами. Зябко кутаясь в пуховый платок, она, улыбаясь, сказала:

– Вот хорошо, что приехал! А то я одна сижу... скучно, идти никуда не хочется... Чай будешь пить?

– Буду... Ты что это какая, нездоровится, что ли?

– Иди в столовую, а я скажу, чтоб самовар дали... – проговорила она, не отвечая на его вопрос.

Он прошел в одну из маленьких комнат дома с двумя окнами в палисадник. Среди нее стоял овальный стол, его окружали старинные стулья, обитые кожей, в одном простенке висели часы в длинном ящике со стеклянной дверью, в углу стояла горка с серебром.

– Ты с обеда? – спросила Люба, входя.

Фома молча кивнул головой.

– Ну что, парадно?

– Беда! – усмехнулся Фома. – Я точно на угольях сидел... Все – как павлины, а я – как сыч...

Люба, расставляя посуду, ничего не ответила ему.

– Ты чего в самом деле скучная какая? – снова спросил Фома, взглянув на ее хмурое лицо.

Она обернулась к нему и с восторгом, с тоской сказала:

– Ах, Фома! Какую я книгу прочитала! Если б ты мог это понимать!

– Видно, хороша книга, коли этак перевернуло тебя... – усмехнулся Фома.

– Я не спала... всю ночь читала... Ты пойми: читаешь – и точно пред тобой двери раскрываются в какое-то другое царство... И люди другие, и речи, и... всё! Вся жизнь...

– Не люблю я этого... – недовольно сказал Фома. – Выдумки, обман. Театр тоже вот... Купцы выставлены для насмешки... разве они в самом деле такие глупые? Как же! Возьми-ка крестного...

– Театр – это та же школа, Фома, – поучительно сказала Люба. – Купцы такие были... И какой может быть в книгах обман?

– Как в сказках... Не настоящее все...

– Ошибаешься! Ты ведь не читал книг, – как же можешь судить? Именно они-то и есть настоящее. Они учат жить.

– Ну! – махнул рукой Фома. – Брось... никакого толку не будет от книг твоих!.. Вон отец-то у тебя книг не читает, а... ловок он! Смотрел я на него сегодня – завидно стало. Так это он со всеми обращается... свободно, умеючи, для всякого имеет слово... Сразу видно, что чего он захочет, того и добьется.

– Чего он добивается? – воскликнула Люба. – Денег только... А есть люди, которые хотят счастья для всех на земле... и для этого, не щадя себя, работают, страдают, гибнут! Разве можно отца равнять с ними?!

– Не равняй!.. Им, стало быть, одно нравится, а крестному другое...

– Им ничего не нравится!

– Это как же?

– Они хотят все изменить...

– Так ведь чего-нибудь ради они стараются? – резонно возразил Фома. – Чего-нибудь хотят?

– Счастья для всех! – горячо вскричала Люба.

– Ну, я этого не понимаю... – качая головой, сказал Фома. – Кто это там о моем счастье заботится? И опять же, какое они счастье мне устроить могут, ежели я сам еще не знаю, чего мне надо? Нет, ты вот что, ты бы на этих посмотрела... на тех, что вот обедали...

– Это не люди! – категорически объявила Люба.

– Да уж я там не знаю, кто они по-твоему, но только видно сразу – место свое они знают. Ловкий народ... развязный...

– Эх, Фома! – огорченно воскликнула Люба. – Ничего ты не понимаешь! Ничто тебя не волнует! Ленивый ты какой-то...

– Ну, поехала! Просто я еще не осмотрелся...

– Просто ты – пустой, – объявила Люба решительно и твердо.

– В душе моей ты не была... – возразил спокойно Фома. – Дум моих ты не знаешь...

– О чем тебе думать? – сказала Люба, пожимая плечами.

– Эко! Один я? Это раз... Жить мне надо? Это два. В теперешнем моем образе совсем нельзя жить – я это разве не понимаю? На смех людям я не хочу... Я вон даже говорить не умею с людьми... Да и думать я не умею... – заключил Фома свою речь и смущенно усмехнулся.

– Читать нужно, учиться нужно, – убедительно советовала Люба, расхаживая по комнате.
– В душе у меня что-то шевелится, – продолжал Фома, не глядя на нее и говоря как бы себе самому, – но понять я этого не могу. Вижу вот я, что крестный говорит... дело все... и умно... Но не привлекает меня... Те люди куда интереснее для меня.

– Это аристократия-то? – спросила Люба.

– Да...

– Там тебе и место! – с презрительной улыбкой сказала Любовь. – Эх ты! Разве они люди? Разве у них есть души?

– Почему ты знаешь их? Ведь незнакома...

– А книги?

Горничная внесла самовар, и разговор прервался. Люба молча заваривала чай, Фома смотрел на нее и думал о Медынской. С ней бы поговорить!

– Да-а, – задумчиво заговорила девушка, – с каждым днем я все больше убеждаюсь, что жить – трудно... Что мне делать? Замуж идти? За кого? За купчишку, который будет всю жизнь людей грабить, пить, в карты играть? Не хочу! Я хочу быть личностью... я – личность, потому что уже понимаю, как скверно устроена жизнь. Учиться? Разве отец пустит... Бежать? Не хватает храбрости... Что же мне делать?

Она сжала руки и поникла головой над столом.

– Если бы ты знал, как противно все... Ни души живой вокруг... С той поры, как умерла мать, – отец всех разогнал. Иные уехали учиться... Липа уехала. Она пишет: «Читай!» Ах, я читаю! – с отчаянием в голосе воскликнула она и, помолчав секунду, тоскливо продолжала: – В книжках нет того, что нужно сердцу... и я не понимаю многого в них... Наконец, мне скучно... скучно мне читать всегда одной, одной! Я говорить хочу с человеком, а человека нет! Мне тошно... живешь один раз, и уже пора жить... а человека все нет... нет! Для чего жить? Ведь я в тюрьме живу!

Фома слушал ее речь, пристально рассматривая пальцы свои, чувствовал большое горе в ее словах, но не понимал ее. И, когда она замолчала, подавленная и печальная, он не нашел что сказать ей, кроме слов, близких к упреку:

– Вот ты сама говоришь, что книжки ничего не стоят для тебя, а меня учишь: читай!..

Она взглянула в лицо ему, и в ее глазах вспыхнула злоба.

– О, как бы я хотела, чтоб в тебе проснулись все эти муки, которыми я живу... Чтоб и ты, как я, не спал ночей от дум, чтоб и тебе все опротивело... и сам ты себе опротивел! Ненавижу я всех вас... ненавижу!

Она, вся красная, так гневно смотрела на него и говорила так зло, что он, удивленный, даже не обиделся на нее. Никогда еще она не говорила с ним так.

– Что это ты? – спросил он ее.

– И тебя я ненавижу! Ты... что ты? Мертвый, пустой... как ты будешь жить? Что ты дашь людям? – вполголоса и как-то злорадно говорила она.

– Ничего не дам, пускай сами добиваются... – ответил Фома, зная, что этими словами он еще больше рассердит ее.

Сила ее упреков невольно заставляла Фому внимательно слушать ее злые речи; он чувствовал в них смысл. Он даже подвинулся ближе к ней, но, негодующая и гневная, она отвернулась от него и замолчала.

На улице еще было светло, и на ветвях лип пред окнами лежал отблеск заката, но комната уже наполнилась сумраком. Огромный маятник каждую секунду выглядывал из-за стекла футляра часов и, тускло блеснув, с глухим, усталым звуком прятался то вправо, то влево. Люба встала и зажгла лампу, висевшую над столом. Лицо девушки было бледно и сурово.

– Накинулась ты на меня, – сдержанно заговорил Фома, – чего ради? Непонятно...

– Не хочу я с тобой говорить! – сердито ответила Люба.

– Дело твое... Но все-таки... чем же я провинился?
– Пойми, душно мне! Тесно мне... Ведь разве это жизнь? Разве так живут? Кто я? Приживалка у отца... держат меня для хозяйства... потом замуж! Опять хозяйство...

– А я тут при чем? – спросил Фома.

– Ты – не лучше других...

– И за то виноват пред тобой?

– Ты должен желать быть лучше...

– Да разве я этого не желаю?! – воскликнул Фома.

Девушка хотела что-то сказать ему, но в это время где-то задребезжал звонок, и она, откинувшись на спинку стула, вполголоса сказала:

– Отец...

– Ну, хоть и подождал бы он, так не огорчил, – сказал Фома. – Хотелось мне еще тебя послушать... больно уж любопытно...

– А! Детишки мои, сизы голуби! – воскликнул Яков Тарасович, являясь в дверях. – Чаек пьете? Налей-ка мне, Любава!

Сладко улыбаясь и потирая руки, он сел рядом с Фомой и, игриво толкнув его в бок, спросил:

– О чем больше ворковали?

– Так, о пустяках разных, – ответила Люба.

– Да разве я тебя спрашиваю? – искривив лицо, сказал ей отец. – Ты себе сиди, помалкивай у своего бабьего дела...

– Про обед рассказывал я ей, – перебил Фома речь крестного.

– Ага! Та-ак... Ну, и я буду говорить про обед... Наблюдал я за тобой давеча... неразумно ты держишь себя!

– То есть как? – спросил Фома, недовольно хмуря брови.

– То есть так-таки просто неразумно, да и все тут. Говорит, например, с тобою губернатор, а ты молчишь...

– Что же я ему скажу? Он говорит, что потерять отца – несчастье... ну, я знаю это!.. А что же ему сказать?

– «Так как оно мне от господина послано, то я, ваше превосходительство, не ропщу...» Так бы сказал или что другое в этом духе... Губернаторы, братец ты мой, смирение в человеке любят.

– Что же мне – овцой на него глядеть? – усмехнулся Фома.

– Овцой ты глядел, – этого не надо... А надо ни овцой, ни волком, а так – этак – разыграть пред ним: «Вы наши папаша, мы ваши детишки...» – он сейчас и обмякнет.

– Это зачем же?

– А на всякий случай... Губернатор – он, брат, всегда куда-нибудь годится.

– Чему вы его учите, папаша! – тихо и негодуя сказала Люба.

– А чему?

– Лакейничать...

– Врешь, ученая дура! Политике я учу, а не лакейству, политике жизни... Ты вот что – ты удались! Отыди от зла... и сотвори нам закуску. С богом!

Люба быстро встала и, бросив полотенце из рук на спинку стула, ушла... Отец, сощурился глаза, досмотрел ей вслед, побарабанил пальцами по столу и заговорил:

– Буду я тебя, Фома, учить. Самую настоящую, верную науку философию преподам я тебе... и ежели ты ее поймешь – будешь жить без ошибок.

Фома взглянул, как двигаются морщины на лбу старика, и они ему показались похожими на строчки славянской печати.

– Прежде всего, Фома, уж ежели ты живешь на сей земле, то обязан надо всем происходящим вокруг тебя думать. Зачем? А дабы от неразумия твоего не потерпеть тебе и не мог ты повредить людям по глупости твоей. Теперь: у каждого человеческого дела два лица, Фома. Одно на виду у всех – это фальшивое, другое спрятано – оно-то и есть настоящее. Его и нужно уметь найти, дабы понять смысл дела... Вот, к примеру, дома ночлежные, трудолюбивые, богадельни и прочие такие учреждения. Сообрази – на что они?

– Чего же соображать? – скучно сказал Фома. – Известно всем, для чего... для бедных, немощных.

– Эх, брат! Иногда всем бывает известно, что такой-то человек мошенник и подлец, а все-таки все его зовут Иваном или Петром и величают по батюшке, а не по матушке...

– Это вы к чему?

– А все к делу... Так вот, говоришь ты, что дома эти для бедных, нищих, стало быть, – во исполнение Христовой заповеди... Ладно! А кто есть нищий? Нищий есть человек, вынужденный судьбой напоминать нам о Христе, он брат Христов, он колокол господень и звонит в жизни для того, чтоб будить совесть нашу, тревожить сытость плоти человеческой... Он стоит под окном и поет: «Христа ра-ади!» – и тем пением напоминает нам о Христе, о святом его завете помогать ближнему... Но люди так жизнь свою устроили, что по Христову учению совсем им невозможно поступать, и стал для нас Иисус Христос совсем лишний. Не единожды, а, может, сто тысяч раз отдавали мы его на пропятие, но все не можем изгнать его из жизни, зане братия его нищая поет на улицах имя его и напоминает нам о нем... И вот ныне придумали мы: запереть нищих в дома такие особые и чтоб не ходили они по улицам, не будили бы нашей совести.

– Ло-овко! – изумленно прошептал Фома, во все глаза глядя на крестного.

– Ага! – воскликнул Маякин, и глазки его сверкали торжеством.

– Как же это отец-то не догадался? – беспокойно спросил Фома.

– Ты погоди! Ты еще послушай дальше-то – хуже будет! Придумали мы запирать их в дома разные и, чтоб не дорого было содержать их там, работать заставили их, стареньких да увечных... И милостыню подавать не нужно теперь, и, убравши с улиц отрепышей разных, не видим мы лютой их скорби и бедности, а потому можем думать, что все люди на земле сыты, обуты, одеты... Вот они к чему, дома эти разные, для скрытия правды они... для изгнания Христа из жизни нашей! Ясно ли?

– Да-а! – сказал Фома, отуманенный ловкой речью старика.

– И еще не все тут... еще не до дна лужа вычерпана! – воскликнул Маякин, одушевленно взмахивая рукой в воздухе.

Морщины на лице его играли; длинный, хищный нос вздрагивал, и голос дребезжал нотами какого-то азарта и умиления.

– Теперь поглядим на это дело с другого бока. Кто больше всех в пользу бедных жертвует на все эти дома, приюты, богадельни? Жертвуют богатые люди, купечество наше... Хорошо-с! А кто жизнью командует и устраивает ее? Дворяне, чиновники и всякие другие – не наши люди... От них и законы, и газеты, и науки – всё от них. Раньше они были помещиками, теперь земля из-под них выдернута, – они на службу пошли... А кто, по нынешним дням, самые сильные люди? Купец в государстве первая сила, потому что с ним – миллионы! Так ли?

– Так! – согласился Фома, желая скорее услышать то недоговоренное, что сверкало уже в глазах крестного.

– Так вот ты и понимай, – раздельно и внушительно продолжал старик, – жизнь устраивали не мы, купцы, и в устройстве ее и до сего дня голоса не имеем, рук приложить к ней не можем. Жизнь устроили другие, они и развели в ней паршь всякую, лентяев этих, несчастных, убогеньких, а коли они ее развели, они жизнь засорили, они ее испортили – им, по-божьи рассуждая, и чистить ее надлежит! Но чистим ее – мы, на бедных жертвуем – мы, призираем

их – мы... Рассуди же ты, пожалуйста: зачем нам на чужое рубище заплаты нашивать, ежели не мы его изодрали? Зачем нам дом чинить, ежели не мы в нем жили и не наш он есть? Не умнее ли это будет, ежели мы станем к сторонке и будем до поры до времени стоять да смотреть, как всякая гниль плодится и чужого нам человека душит? Ему с ней не сладить, – средств у него нет. Он к нам и обратится, скажет: «Пожалуйста, господа, помогите!» А мы ему: «Позвольте нам простору для работы! Включите нас в строители оной, самой жизни!» И как только он нас включит – тогда-то мы и должны будем единым махом очистить жизнь от всякой скверны и разных лишков. Тогда государь император воочию узрит светлыми очами, кто есть его верные слуги и сколько они в бездействии рук ума в себе накопили... Понял?

– Как же не понять! – воскликнул Фома.

Когда крестный говорил о чиновниках, он вспомнил о лицах, бывших на обеде, вспомнил бойкого секретаря, и в голове его мелькнула мысль о том, что этот кругленький человечек, наверно, имеет не больше тысячи рублей в год, а у него, Фомы, – миллион. Но этот человек живет так легко и свободно, а он, Фома, не умеет, конфузится жить. Это сопоставление и речь крестного возбудили в нем целый вихрь мыслей, но он успел схватить и оформить лишь одну из них.

– В самом деле – для денег, что ли, одних работаешь? Что в них толку, если они власти не дают.

– Ага! – прищурился глаз, сказал Маякин.

– Эх! – обиженно воскликнул Фома. – Как же это отец-то? Говорили вы с ним?

– Двадцать лет говорил...

– Ну, и что он?

– Не доходила до него моя речь... темечко у него толстовато было, у покойного... Душу он держал нараспашку, а ум у него глубоко сидел... Н-да, сделал он промашку... Денег этих весьма и очень жаль...

– Денег мне не жаль...

– Ты бы попробовал нажать хоть десятую из них да тогда и говорил...

– Я могу войти? – раздался за дверью голос Любы.

– Можешь... – ответил отец.

– Вы сейчас закусывать станете? – спросила она, входя.

– Давай...

Она подошла к буфету и загремела посудой. Яков Тарасович посмотрел на нее, пожевал губами и вдруг, хлопнув Фому ладонью по колену, сказал ему:

– Так-то, крестник! Вникай...

Фома ответил ему улыбкой и подумал про себя:

«А умен... умнее отца-то...»

И тотчас же сам себе, но как бы другим голосом ответил:

«Умнее, но – хуже...»

V

Двойственное отношение к Маякину все укреплялось у Фомы: слушая его речи внимательно и с жадным любопытством, он чувствовал, что каждая встреча с крестным увеличивает в нем неприязненное чувство к старику. Иногда крестный возбуждал у крестника чувство, близкое к страху, порой даже физическое отвращение. Последнее обыкновенно являлось у Фомы тогда, когда старик был чем-нибудь доволен и смеялся. От смеха морщины старика дрожали, каждую секунду изменяя выражение лица; сухие и тонкие губы его прыгали, растягивались и обнажали черные обломки зубов, а рыжая бородака точно огнем пылала, и звук смеха был похож на визг ржавых петель. Не умея скрывать своих чувств, Фома часто и очень грубо высказывал их Маякину, но старик как бы не замечал грубости и, не спуская глаз с крестника, руководил каждым его шагом. Он почти не ходил в свою лавочку, всецело погружаясь в паромходные дела молодого Гордеева и оставляя Фоме много свободного времени. Благодаря значению Маякина в городе и широким знакомствам на Волге дело шло блестяще, но ревностное отношение Маякина к делу усиливало уверенность Фомы в том, что крестный твердо решил женить его на Любе, и это еще более отталкивало его от старика.

Люба и нравилась ему и казалась опасной. Она не выходила замуж, и крестный ничего не говорил об этом, не устраивал вечеров, никого из молодежи не приглашал к себе и Любу не пускал никуда. А все ее подружки уже были замужем... Фома удивлялся ее речам и слушал их так же жадно, как и речи ее отца; но когда она начинала с любовью и тоской говорить о Тарасе, ему казалось, что под именем этим она скрывает иного человека, быть может, того же Ежова, который, по ее словам, должен был почему-то оставить университет и уехать из Москвы. В ней много было простого и доброго, что нравилось Фоме, и часто она речами своими возбуждала у него жалость к себе: ему казалось, что она не живет, а бредит наяву.

Его выходка на поминках по отце распространилась среди купечества и создала ему нелестную репутацию. Бывая на бирже, он замечал, что все на него поглядывают недоброжелательно и говорят с ним как-то особенно. Раз даже он услышал за спиной у себя негромкий, но презрительный возглас:

– Гордионишко! Молокосос...

Он не обернулся посмотреть, кто бросил эти слова. Богатые люди, сначала возбуждавшие в нем робость перед ними, утрачивали в его глазах обаяние. Не раз они уже вырывали из рук его ту или другую выгодную поставку; он ясно видел, что они и впредь это сделают, все они казались ему одинаково алчными до денег, всегда готовыми надуть друг друга. Когда он сообщил крестному свое наблюдение, старик сказал:

– А как же? Торговля – все равно что война, – азартное дело. Тут бьются за суму, а в суме – душа...

– Не нравится это мне, – заявил Фома.

– И мне не все нравится, – фальши много! Но напрямки ходить в торговом деле совсем нельзя, тут нужна политика! Тут, брат, подходя к человеку, держи в левой руке мед, а в правой – нож.

– Не очень хорошо это, – задумчиво сказал Фома.

– Хорошо – дальше будет... Когда верх возьмешь, тогда и хорошо... Жизнь, брат Фома, очень просто поставлена: или всех грызи, или лежи в грызи...

Старик улыбался, и обломки зубов во рту его вызвали у Фомы острую мысль: «Многих, видно, ты загрыз...»

– Лучше-то ничего нет? Тут – всё?

– Где же – кроме? Всякий себе лучшего желает... А что оно, лучше? Вперед людей уйти, выше их стать. Вот все и стараются достичь первого места в жизни... иной так, иной этак...

но все обязательно хотят, чтоб их, как колокольни, издали было видать. К этому человек и назначен, к возвышению... Даже в книге Иова это выражено: «человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх». Ты посмотри: ребятишки в играх и то друг друга всегда превзойти хотят. И всякая игра всегда свой высокий пункт имеет, чем она и занята... Понял?

– Это я понимаю! – сказал Фома.

– Это надо чувствовать... С одним понятием никуда не допрыгаешь, и ты еще пожелай, так пожелай, чтобы гора тебе – кочка, море тебе – лужа! Эх! Я, бывало, в твои годы играючи жил! А ты все еще нацеливаешься...

Однообразные речи старика скоро достигли того, на что были рассчитаны: Фома вслушался в них и уяснил себе цель жизни. Нужно быть лучше других, – затвердил он, и возбужденное стариком честолюбие глубоко вьелось в его сердце... Вьелось, но не заполнило его, ибо отношения Фомы к Медынской приняли тот характер, который роковым образом должны были принять. Его тянуло к ней, ему всегда хотелось видеть ее, а при ней он робел, становился неуклюжим, глупым, знал это и страдал от этого. Он часто бывал у нее, но ее трудно было застать дома одну: около нее всегда, как мухи над куском сахара, кружились раздушенные щеголи. Они говорили с ней по-французски, пели, хохотали, а он молчал и смотрел на них, полный злобы и зависти. Поджав ноги, он сидел где-нибудь в уголке ее пестро убранной гостиной и угрюмо наблюдал.

Пред ним, по мягким коврам, бесшумно мелькала она, кидая ему ласковые взгляды и улыбки, за ней увивались ее поклонники, и все они так ловко, точно змеи, обходили разнообразными столики, стулья, экраны – целый магазин красивых и хрупких вещей, разбросанных по комнате с небрежностью, одинаково опасной и для них и для Фомы. Когда он шел, ковер не заглушал его шагов, и все эти вещи цеплялись за его сюртук, тряслись, падали. Был там около рояля бронзовый матрос, размахнувшийся, чтоб кинуть спасательный круг, на круге висели веревки из проволоки, и они постоянно дергали Фому за волосы. Все это возбуждало смех у Софьи Павловны и ее поклонников, но очень дорого стоило Фоме, бросая его то в жар, то в холод.

Но ему было не легче и наедине с ней. Встречая его ласковой улыбкой, она усаживалась с ним в одном из уютных уголков гостиной и обыкновенно начинала разговор с того, что, изгибаясь кошкой, заглядывала ему в глаза темным взглядом, в котором вспыхивало что-то жадное.

– Я так люблю говорить с вами, – музыкально растягивая слова, пела она. – Все эти – мне надоели... они скучные, ординарные, изношенные. А вы – свежий, искренний. Ведь вы их тоже не любите?

– Терпеть не могу! – твердо ответил Фома.

– А меня? – тихонько спрашивала она.

Фома отводил глаза в сторону и, вздыхая, говорил:

– Который раз вы это спрашиваете...

– Вам трудно сказать?

– Не трудно... да зачем?

– Мне нужно знать это...

– Играете вы со мной... – угрюмо говорил Фома.

А она широко открывала глаза и тоном глубокого изумления спрашивала:

– Как играю? Что значит – играть?

И лицо у нее было такое ангельское, что он не мог не верить ей.

– Люблю я вас, люблю! Разве это можно – не любить вас? – горячо говорил он, и тотчас же пониженным голосом с грустью добавлял: – Да ведь вам это не нужно!..

– Вот вы и сказали! – удовлетворенно вздыхала Медынская и отодвигалась от него подальше. – Мне всегда страшно приятно слушать, как вы это говорите... молодо, цельно... Хотите поцеловать мне руку?

Он молча схватывал ее белую, тонкую ручку и, осторожно склонясь к ней, горячо и долго целовал ее. Она вырывала руку, улыбающаяся, грациозная, но ничуть не взволнованная его горячностью. Задумчиво, с этим, всегда смущавшим Фому, блеском в глазах, она рассматривала его, как что-то редкое, крайне любопытное, и говорила:

– Сколько у вас здоровья, сил, душевной свежести... Вы знаете – ведь вы, купцы, еще совершенно не жившее племя, целое племя с оригинальными традициями, с огромной энергией души и тела... Вот вы, например: ведь вы драгоценный камень, и если вас отшлифовать... о!

Когда она говорила: у вас, по-вашему, по-купчески, – Фоме казалось, что этими словами она как бы отталкивает его от себя. Это было и грустно и обидно. Он молчал, глядя на ее маленькую фигурку, всегда как-то особенно красиво одетую, всегда благоухающую, как цветок, и девически нежную. Порой в нем вспыхивало дикое и грубое желание схватить ее и целовать. Но красота и эта хрупкость тонкого и гибкого тела ее возбуждали в нем страх изломать, изувечить ее, а спокойный, ласковый голос и ясный, но как бы подстерегающий взгляд охлаждал его порывы: ему казалось, что она смотрит прямо в душу и понимает все думы... Эти взрывы чувства были редки, вообще же юноша относился к Медынской с обожанием, удивляясь всему в ней – ее красоте, речам, ее одежде. И рядом с этим обожанием в нем всегда жило мучительно-острое сознание его отдаленности от нее, ее превосходства над ним.

Такие отношения установились у них быстро; в две-три встречи Медынская вполне овладела юношей и начала медленно пытаться его. Ей, должно быть, нравилась власть над здоровым, сильным парнем, нравилось будить и укрощать в нем зверя только голосом и взглядом, и она наслаждалась игрой с ним, уверенная в силе своей власти. Он уходил от нее полубольной от возбуждения, унося обиду на нее и злобу на себя. А через два дня снова являлся для пытки.

Однажды он робко спросил ее:

– Софья Павловна!.. Были у вас дети?

– Нет...

– Я так и знал! – с радостью вскричал Фома.

Она взглянула на него глазами совсем маленькой и наивной девочки и сказала:

– Почему же вы это знали? И зачем вам знать, были ли у меня дети?

Фома покраснел, наклонил голову и начал говорить ей глухо и так, точно выталкивая слова из-под земли и каждое слово весило несколько пудов.

– Видите... ежели женщина, которая... то есть родила, то у нее глаза... совсем не такие...

– Да-а? Какие же?

– Бесстыжие! – бухнул Фома.

Медынская рассмеялась своим серебристым смехом, и Фома, глядя на нее, рассмеялся.

– Вы простите! – сказал он наконец. – Я, может, нехорошо... неприлично сказал...

– О, нет, нет! Вы не можете сказать ничего неприличного... вы чистый, милый мальчик.

Итак, у меня глаза не бесстыжие?

– У вас – как у ангела! – восторженно объявил Фома, глядя на нее сияющим взглядом.

А она взглянула на него так, как не смотрела еще до этой поры, – взглядом женщины-матери, грустным взглядом любви, смешанной с опасением за любимого.

– Идите, голубчик... Я устала и хочу отдохнуть... – сказала она ему, вставая и не глядя на него.

Он покорно ушел.

Некоторое время после этого случая она держалась с ним более строго и честно, точно жалея его, но потом отношения приняли снова форму игры кошки с мышью.

Отношения Фомы к Медынской не могли укрыться от крестного, и однажды старик, скорчив ехидную рожу, спросил его:

– Фома! Ты почаще голову щупай, чтоб не потерять тебе ее случаем.

– Это вы насчет чего? – спросил Фома.

– А насчет Соньки, больно уж часто ты к ней ходишь.

– Что вам? – грубовато сказал Фома. – И какая она для вас Сонька?

– Мне – ничего, меня не убудет от того, что тебя обгложут. А что ее Сонькой зовут – это всем известно... И что она любит чужими руками жар загребать – тоже все знают.

– Она умная! – твердо объявил Фома, хмурясь и пряча руки в карманы. – Образованная...

– Умная, это верно! Образованная... Она тебя образует... Особенно шалопаи, которые вокруг нее...

– Не шалопаи, а... тоже умные люди! – злобно возразил Фома, уже сам себе противореча. – И я от них учусь... Я что? Ни в дудку, ни поплясать... Чему меня учили? А там обо всем говорят... всякий свое слово имеет. Вы мне на человека похожим быть не мешайте.

– Фу-у! Ка-ак ты говорить научился! То есть как град по крыше... сердито! Ну ладно, – будь похож на человека... только для этого безопаснее в трактир ходить; там человеки все же лучше Софьиных... А ты бы, парень, все-таки учился бы людей-то разбирать, который к чему... Например – Софья... Что она изображает? Насекомая для украшения природы и больше – ничего!

Возмущенный до глубины души, Фома стиснул зубы и ушел от Маякина, еще глубже засунув руки в карманы. Но старик вскоре снова заговорил о Медынской.

Они возвращались из затона после осмотра пароходов и, сидя в огромном и покойном возке, дружелюбно и оживленно разговаривали о делах. Это было в марте: под полозьями саней всхлипывала вода, снег почти стаял, солнце сияло в ясном небе весело и тепло.

– Приедешь, – к барыне своей первым делом пойдешь? – неожиданно спросил Маякин, прервав деловой разговор.

– Схожу, – недовольно ответил Фома.

– Мм... Что, скажи, часто подарки делаешь ты ей? – просто и как-то задушевно спросил Маякин.

– Какие подарки? Зачем? – удивился Фома.

– Не даришь? Ишь ты... Неужто она просто так, по любви живет с тобой?

Фома вспыхнул от гнева и стыда, круто повернулся к старику и укоризненно сказал:

– Эх! Старый ведь вы человек, а говорите – стыдно слушать! Да разве она пойдет на это?

Маякин чмокнул губами и унылым голосом пропел:

– Какой ты ду-убина! Какой ду-урачина! – И, внезапно озлившись, плюнул. – Тьфу тебе! Всякий скот пил из кринки, остались подонки, а дурак из грязного горшка сделал божка!.. Че-орт! Ты иди к ней и прямо говори: «Желаю быть вашим любовником, – человек я молодой, дорого не берите».

– Крестный! – угрюмо и грозно сказал Фома. – Я этого слушать не могу... Ежели бы кто другой...

– Да кто, кроме меня, остережет тебя? А ба-атюшки! – завопил Маякин, всплескивая руками. – Это она тебя всю зиму за нос и водила? Ну но-ос! Ах она, стервоза!

Старик был возмущен; в голосе его звучали досада, злоба, даже слезы. Фома никогда еще не видал его таким и невольно молчал.

– Ведь она испортит тебя! Ах, блудница вавилонская!..

Глаза Маякина учащенно мигали, губы вздрагивали, и грубыми, циничными словами он начал говорить о Медынской, азартно, с злобным визгом.

Фома чувствовал, что старик говорит правду. Ему стало тяжело дышать.

– Ладно, папаша, будет... – тихо и тоскливо попросил он, отвертываясь в сторону от Маякина.

– Эх, надо тебе скорее жениться! – тревожно вскричал старик.

– Христа ради, не говорите! – глухо молвил Фома.

Маякин взглянул на крестника и умолк. Лицо Фомы вытянулось, побледнело, и было много тяжелого и горького изумления в его полуоткрытых губах и в тоскующем взгляде... Справа и слева от дороги лежало поле, покрытое клочьями зимних одежд. По черным проталинам хлопотливо прыгали грачи. Под полозьями всхлипывала вода, грязный снег вылетал из-под ног лошадей...

– Ну и глуп же человек в своей юности! – негромко воскликнул Маякин. – Стоит перед ним пень дерева, а он видит – морда зверева... о-хо-хо!

– Говорите прямыми словами, – угрюмо сказал Фома.

– Чего тут говорить? Дело ясное: девки – сливки, бабы – молоко; бабы – близко, девки – далеко... стало быть, иди к Соньке, ежели без этого не можешь, – и говори ей прямо – так, мол, и так... Дурашка! Чего ж ты дуешься? Чего пыжишься?

– Не понимаете вы... – тихо сказал Фома.

– Чего я не понимаю? Я все понимаю!

– Сердца, – сердце есть у человека!.. – тихо сказал юноша.

Маякин прищурил глаза и ответил:

– Ума, значит, нет...

VI

Охваченный тоскливой и мстительной злобой приехал Фома в город. В нем кипело страстное желание оскорбить Медынскую, надругаться над ней. Крепко стиснув зубы и засунув руки глубоко в карманы, он несколько часов кряду расхаживал по пустынным комнатам своего дома, сурово хмурил брови и все выпячивал грудь вперед. Сердцу его, полному обиды, было тесно в груди. Он тяжело и мерно топал ногами по полу, как будто ковал свою злобу.

– Подлая... ангелом нарядилась!

Порой надежда робким голосом подсказывала ему:

«Может, все это клевета...»

Но он вспоминал азартную уверенность и силу речей крестного и крепче стискивал зубы, еще более выпячивал грудь вперед.

Маякин, бросив в грязь Медынскую, тем самым сделал ее доступной для крестника, и скоро Фома понял это. В деловых весенних хлопотах прошло несколько дней, и возмущенные чувства Фомы затихли. Грусть о потере человека притупила злобу на женщину, а мысль о доступности женщины усилила влечение к ней. Незаметно для себя он решил, что ему следует пойти к Софье Павловне и прямо, просто сказать ей, чего он хочет от нее, – вот и все!

Прислуга Медынской привыкла к его посещениям, и на вопрос его «дома ли барыня?» – горничная сказала:

– Пожалуйста в гостиную...

Он оробел немножко... но, увидав в зеркале свою статную фигуру, обтянутую сюртуком, смуглое свое лицо в рамке пушистой черной бородки, серьезное, с большими темными глазами, – приподнял плечи и уверенно пошел вперед через зал...

А навстречу ему тихоплыли звуки струн – странные такие звуки: они точно смеялись тихим, невеселым смехом, жаловались на что-то и нежно трогали сердце, точно просили внимания и не надеялись, что получат его... Фома не любил слушать музыку – она всегда вызывала в нем грусть. Даже когда «машина» в трактире начинала играть что-нибудь заунывное, он ощущал в груди тоскливое томление и просил остановить «машину» или уходил от нее подальше, чувствуя, что не может спокойно слушать этих речей без слов, но полных слез и жалоб. И теперь он невольно остановился у дверей в гостиную.

Дверь была завешена длинными нитями разноцветного бисера, нанизанного так, что он образовал причудливый узор каких-то растений; нити тихо колебались, и казалось, что в воздухе летают бледные тени цветов. Эта прозрачная преграда не скрывала от глаз внутренности гостиной. Медынская, сидя на кушетке в своем любимом уголке, играла на мандолине. Большой японский зонтик, прикрепленный к стене, осенял пестротой своих красок маленькую женщину в темном платье; высокая бронзовая лампа под красным абажуром обливала ее светом вечерней зари. Нежные звуки тонких струн печально дрожали в тесной комнате, полной мягкого и душистого сумрака. Вот женщина опустила мандолину на колени себе и, продолжая тихонько трогать струны, стала пристально всматриваться во что-то впереди себя.

Фома смотрел на нее и видел, что наедине сама с собой она не была такой красивой, как при людях, – ее лицо серьезней и старей, в глазах нет выражения ласки и кротости, смотрят они скучно. И поза ее была усталой, как будто женщина хотела подняться и – не могла.

Юноша кашлянул...

– Кто это? – тревожно вздрогнув, спросила женщина. И струны вздрогнули, издав тревожный звук.

– Это я, – сказал Фома, откидывая рукой нити бисера.

– А! Но как вы тихо... Рада видеть вас... Садитесь!.. Почему так давно не были?

Протягивая ему руку, она другой указывала на маленькое кресло около себя, и глаза ее улыбались радостно.

– Ездил в затон пароходы смотреть, – говорил Фома с преувеличенной развязностью, подвигая кресло ближе к кушетке.

– Что, в полях еще много снега?

– Сколько вам угодно... Но здорово тает. По дорогам – вода везде...

Он смотрел на нее и улыбался. Должно быть, Медынская заметила развязность его поведения и новое в его улыбке – она оправила платье и отодвинулась от него. Их глаза встретились – и Медынская опустила голову.

– Тает! – задумчиво сказала она, разглядывая кольцо на своем мизинце.

– Н-да... ручьи везде... – любуясь своими ботинками, сообщил Фома.

– Это хорошо... Весна идет...

– Уж теперь не задержит...

– Придет весна, – повторила Медынская негромко и как бы вслушиваясь в звук слов.

– Влюбляться станут люди, – усмехнувшись, сказал Фома и зачем-то крепко потер руки.

– Вы собираетесь? – сухо спросила Медынская.

– Мне – нечего... я – давно!.. Влюблен на всю жизнь...

Она мельком взглянула на него и снова начала играть, задумчиво говоря:

– Как это хорошо, что вы только еще начинаете жить... Сердце полно силы... и нет в нем ничего темного...

– Софья Павловна! – тихо воскликнул Фома.

Она ласковым жестом остановила его.

– Подождите, голубчик! Сегодня я могу сказать вам... что-то хорошее... Знаете – у человека, много пожившего, бывают минуты, когда он, заглянув в свое сердце, неожиданно находит там... нечто давно забытое... Оно лежало где-то глубоко на дне сердца годы... но не утратило благоухания юности, и когда память дотронется до него... тогда на человека повеет... живительной свежестью утра дней...

Струны под ее пальцами дрожали, плакали, Фоме казалось, что звуки их и тихий голос женщины ласково и нежно щекочат его сердце... Но, твердый в своем решении, он вслушивался в ее слова и, не понимая их содержания, думал:

«Говори! Теперь уж не поверю никаким твоим речам...»

Это раздражало его. Ему было жалко, что он не может слушать ее речь так внимательно и доверчиво, как раньше, бывало, слушал...

– Вы думаете о том, как нужно жить? – спросила женщина.

– Иной раз подумаешь – а потом опять забудешь. Некогда! – сказал Фома и усмехнулся. – Да и что думать? Видишь, как живут люди... ну, стало быть, надо им подражать.

– Ах, не делайте этого! Пожалейте себя... Вы такой... славный!.. Есть в вас что-то особенное, – что? Не знаю! Но это чувствуется... И мне кажется, вам будет ужасно трудно жить... Я уверена, что вы не пойдете обычным путем людей вашего круга... нет! Вам не может быть приятна жизнь, целиком посвященная погоне за рублем... о, нет! Я знаю, – вам хочется чего-то иного... да?

Она говорила быстро, с тревогой в глазах. Фома думал, глядя на нее:

«К чему это она клонит?»

Подвинувшись к нему, она заглядывала в лицо его, убедительно говоря:

– Устройте себе жизнь как-нибудь иначе... Вы сильный, молодой... хороший!..

– А коли хорош я, так и мне должно быть хорошо! – воскликнул Фома, чувствуя, как им овладевает волнение и сердце начинает трепетно биться...

– Ах, на земле всегда хорошим хуже, чем дурным!.. – с грустью сказала Медынская.

И снова из-под пальцев ее запрыгали дрожащие нотки музыки. Фома почувствовал, что, если он сейчас не начнет говорить то, что нужно, – позднее он ничего не скажет ей...

«Господи, благослови!» – мысленно произнес он и пониженным голосом, с напряжением в груди начал:

– Софья Павловна! Будет уж!.. Мне надо говорить... Я пришел сказать вам вот что: будет! Надо поступать прямо... открыто... Привлекали вы меня к себе сначала... а теперь вот отгораживаетесь от меня... Я не пойму, что вы говорите... у меня ум глухой... но я ведь чувствую – спрятать себя вы хотите... я вижу – понимаете вы, с чем я пришел!

Его глаза разгорались, и с каждым словом голос становился горячее и громче. Она качнулась всем корпусом вперед и тревожно сказала:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.